Михаил Хейфец

ВОЕННОПЛЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Повесть о Паруйре Айрикяне

ВОЕННОПЛЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ПОВЕСТЬ О ПАРУЙРЕ АЙРИКЯНЕ

Overseas Publications Interchange Ltd

MIKHAIL HEIFETZ

PARUIR AIRIKIAN

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1985

МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ

ВОЕННОПЛЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ПОВЕСТЬ О ПАРУЙРЕ АЙРИКЯНЕ

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1985

Mikhail Heifetz: VOENNOPLENNYI SEKRETAR'.
POVEST' O PARUIRE AIRIKIANE

First Russian edition published in 1985
by Overseas Publications Interchange Ltd
8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Mikhail Heifetz, 1985
Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange, 1985

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.

ISBN 0 903868 53 9

Cover design by Andrzej Krauze

Printed in Israel

ЕЛЕНЕ СИРОТЕНКО ПОСВЯЩАЮ

ВПЕРВЫЕ СЛЫШУ О ПАРУЙРЕ

Пятого марта 1975 года из московской тюрьмы "Красная Пресня" меня этапировали в Мордовию, по направлению к Потьме, тогдашней столице политических лагерей СССР.

Обычно камеры "столыпина", вагона для перевозки заключенных, набиты до отказа: в шестиместном купе сидят десять, двенадцать, а то и пятнадцать бытовиков. Но политиков положено отделять от серой массы – не из гуманизма, естественно, а чтоб не заразили питательную среду революционной бациллой. Поэтому на этапах политики часто едут с относительными удобствами. Мы, например, ехали вдвоем в камере на троих (в "тройнике") в конце вагона. Мы – это я и мутноглазый, черноволосый, с лицом прохиндея, двадцатилетний гражданин, турецкоподданный из города Измира по имени Эмин.

По-русски бывший измирец знал всего две фразы: "Сколько стоит красивый русский дэвушка?" и "Где тут можно устроиться кельнером?" и еще словечко "х...о", которое употреблял в каждой более или менее неожиданной ситуации. Ситуаций хватало. Могу представить, каково ему пришлось на предыдущем отрезке этапа – от Еревана до Москвы, – если он совсем не понимал команд конвоя!

Я по-английски, как поется у Галича, "плохо читаю", но тут пришлось мобилизовать свой скудный запас английских слов и выручать беднягу-турка. Благодарный Эмин вздохнул (хорошо помню этот трагический вздох) и поделился своей историей. Несмотря на молодость, он успел побывать на заработках на Западе, в ФРГ, болтал по-английски и по-немецки, с ужасным, правда, произношением, – и ему по-

нравилось за пределами Турции. Вернувшись из Германии на родину, он припомнил, что иностранные государства есть также на Востоке, и решил заработать уже не марки, а рубли – кельнером в советском ресторане. Не буду сейчас лгать: тогда я не верил ни одному слову его истории и считал, что передо мной "левак", устремившийся на родину трудящихся всего мира, но в советской тюрьме стыдившийся в этом признаваться. Лишь много лет спустя, в Израиле, познакомившись с тем слоем местной молодежи, который искренне не понимает, зачем в школах заставляют учить географию, подумал, что Эмин, возможно, говорил мне правду. Но пока оставим Израиль в стороне...

При переходе границы он оказался в руках пограничников и, соответственно, в ереванском следственном изоляторе КГБ.

– Как следователи с тобой говорили?

("Вели допрос?" Нет, на такую фразу моего английского не хватает.)

– Я знаю армянский. На армянском...

Омусульманенный армянин? Несколько вопросов... Нет, не армянин.

Этого несчастного полудурка несколько месяцев держали даже не в камере, а в "боксе", в малюсенькой спецклетклетке, все выясняли, не шпион ли.

Но обвинение в шпионаже отпало: никак не походил, не годился Эмин в работники спецслужбы. Даже сверхподозрительные гебисты это поняли. Однако если сегодняшние мои читатели полагают, что несчастного измирца выгнали обратно в Турцию, то, безусловно, они люди нормальные, но логику советского правосудия понимать не приспособлены. Его конечно же осудили по статье "Незаконный переход границы" – и дали срок точно по таксе. Вас интересует такса? За переход из мира социализма в мир капитализма (по бытовой причине) полагается три года лагерей общего режима. За переход из одного отсека мира социализма в дру-

гой отсек этого же мира – всего два года лагерей общего режима. Снисхождение. Эмин же совершил казус, не имевший уже несколько десятилетий прецедента и потому, кажется, не предусмотренный действующим законодательством: он перешел из капиталистического ада в наш советский рай. По какому разделу таксы его судить? Армянские судьи выдали вознаграждение по социалистическому курсу, два года, что было с их стороны гуманно. Говорю без иронии – в другой республике турок наверняка вышел бы из зала суда с "трояком". Но благодарности к армянскому советскому правосудию он не испытывал: попробовав на этапе завтраки и обеды не кавказских, а обычных советских тюрем, Эмин уже угадывал быт мордовских лагерей на оставшиеся полтора года срока и весь совместный наш этап только постанывал: "Х...о, Миша".

Нашу камеру постоянно охранял персональный пост. Наутро со мной заговорил караульный, лейтенант: "Как это вы, интеллигентный человек, попали в такой вагон?". Бояться мне уже было нечего, все равно не посадят, поэтому я высказался о судьбе литераторов в России совершенно откровенно. Лейтенант позвал старшего лейтенанта: "Он у нас с университетом, сумеет ответить как надо". Старлей подискутировал со мной опять же о русских писателях и наконец сказал: "У меня не хватает эрудиции спорить с вами", – именно такие высокие словеса употребил, шельмец, потому запомнилось. И, как в сказке про репку, позвал на выручку капитана, начальника состава. А капитан оказался армянином.

...Впервые наблюдал я в этапном вагоне неизвестное мне раньше жизненное явление: солидарность кавказцев на чужбине. У себя на родине кавказские люди крепко друг друга недолюбливают: армяне не терпят не только турок, но и грузин, а те платят им взаимностью. Но вдали от Кавказа тамошние аборигены начинают чувствовать взаимное притяжение, ощущают прежних "кровников" людьми своей ментальности, "нашего региона". Много раз потом и в зо-

не и в ссылке я наблюдал этот феномен кавказской солидарности на чужбине.

Капитан равнодушно глядел на меня: интересовал его Эмин. Поговорил с ним по-армянски, потом распорядился:

– С этими людьми не спорьте!

И объяснил офицерам приказ:

– В этом купе умные люди сидят. С ними вам не нужно спорить.

– Только ум у них не в ту сторону направлен, – проворчал старший лейтенант, тот, что был "с университетом".

– Вон тот, – кивнул капитан на Эмина. – Двадцать лет, а языки знает: английский, немецкий. У нас в Ереване недавно был суд. Такого же молодого судили. Я был в зале. Он уже отсидел четыре года за... – тут капитан понизил голос, словно выдавал секрет высшей степени: – ...за независимость.

"За независимость" чего именно – так и не сказал.

– ...Как выступил! Как бил прокурора! Историей! Философией! Конституцией! Сделал из него мелкорубленный кебаб! С людьми, вроде них, не спорьте.

Нас оставили в покое до конца этапа, до Потьминской пересылки.

Так 5 марта 1975 года я впервые услышал про моего будущего друга Паруйра Айрикяна, еще не зная его имени.

ПЕРВЫЕ АРМЯНЕ-ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ

7 марта меня доставили в зону № 17-а Мордовского управления лагерей (в истории они известны как Темниковские политлагеря, или "Дубровлаг").

Несколько слов о пейзаже: так вроде бы положено традицией – начинать повествование с пейзажа.

Зона с почтовым индексом ЖХ 385/17-а называлась зэками и администрацией "малой зоной". Она состояла из двух участков, каждый примерно в полтора гектара, разделенных забором с колючей проволокой. На левом от входа участке находились бараки для жилья, барак-столовая и барак-штаб – это "жилая зона"; вправо от входа участок с барак-цехом, это "рабочая зона".

Слово "барак" вызывает у несведущих читателей тоску и легкий ужас, но на самом деле это обычные, длинные, деревянные дома с большими комнатами-секциями. На нашей зоне они были одноэтажными и даже построены не без некоторого деревенского кокетства: с крылечком, со скамеечками, с резными балясинами. Между бараками пролегала песчаная дорожка, окаймленная клумбами и тополями,– если не знать, что тут лагерь, то вид прямо идиллический. Отчетливо помню странное цветовое ощущение от зоны: вообще Мордовия – красивый край, и мне она запомнилась в сочетании трех цветов. В выси – голубой; за забором, где шумели высокие деревья, – ярко-зеленый; а посредине, где зона, – серый. Знаю, что это неверно, что были в зоне и цветы, и покрашенные белым наличники на штабе, и тополя, и трава, и разноцветные плакаты, а вот запомнился почему-

то серый, только серый, причем трухлявый, какой бывает в старых-престарых избах.

Даже в "лучшие годы" ГУЛАГа в семнадцатой "а" бывало не больше четырехсот с гаком зэков: по советским масштабам величина ничтожная. Собственно, лагерь 17-а официально считался даже не лагерем, а участком при крупном лагере № 17, находившемся метрах в пятидесяти – ста от нашего забора. Ветераны-надзиратели рассказывали, что в семнадцатой "а" когда-то сидели монашки, посаженные за веру в Бога (западному читателю, наверное, трудно поверить, что это был единственный криминал в их деле. Я западных читателей понимаю: пока сам, своими глазами, не познакомился с этим странным государством в государстве, ГУЛАГом, не верил, что людей могут посадить только и исключительно за веру в Бога, без примеси других, пусть хотя бы выдуманных, хотя бы сфабрикованных обвинений. Но я лично, своими собственными глазами, читал приговоры у наших "стариков", где инкриминировалось такое: "Кормил единоверцев картофелем со своего огорода... Говорил, что хорошо бы устроить монастырь..." Человек с таким приговором – он просил меня написать надзорную жалобу, сам был малограмотным – при мне досиживал двадцать третий год (!!!) из двадцати пяти, отмеренных ему справедливым казанским областным судом в 1956 году). Посмеиваясь над монашеской "темнотой", надзиратели рассказывали, что женщины даже в кино не ходили на положенный раз в неделю сеанс, а вместо этого "молились на лес". Потом якобы они вымерли за проволокой. от старости и болезней, и тогда-то малую зону приспособили для мужчин-"политиков", хотя производство по традиции осталось женское, швейное: мы шили там знаменитые мордовские "белые рукавицы с одним пальцем".

Всю зону окружал глухой дощатый забор высотой примерно в три метра, восемь рядов колючей проволоки – по четыре ряда с каждой стороны забора – и проволочные спирали-ловушки. По обе стороны забора простиралась так на-

зываемая "запретная полоса", которую бороновали заново каждое утро. Вдоль внутреннего периметра "запретки" бежала тропа, вытоптанная поколениями заключенных: ее на лагерном жаргоне именовали "кругом".

Что еще сказать о нашей малой зоне? На первой же "проверке" (перекличке заключенных надзирателями) я узнал, что клиентов ГУЛАГа здесь мало: помнится, было меньше девяноста человек. Новые друзья в первый вечер объяснили, что "политиков" из Мордовии перебрасывают в Пермскую область, на Урал, там открыты новые зоны. Все-таки Пермь подальше от Москвы, с ее инкорами и досадной "Хроникой текущих событий", поглубже, чем Мордовия, на восток и на север одновременно. По мнению моих друзей, нашу семнадцатую "а" пока что сделали, как они выразились, штрафным участком: сюда помещали лишь избранных заключенных, которых КГБ хотел "высветить", окружить особо плотным надзором штатных и нештатных сотрудников. Если бы в зоне с такой оперативной задачей находилось слишком много зэков – это затруднило бы работу комитетчиков. Поэтому к нам людей переводили редко, и обычно они были самые опасные и самые интересные для ГБ объекты наблюдения и изучения; ну и, конечно, переводили сюда же самых ловких стукачей.

...В первый же вечер со мной познакомились двое армян, осужденных за "армянский национализм".

Сильно меня разочаровал первый, лагерный механик Арарат Товмасян, пожилой, понурый, замкнутый. Возможно, я слишком многого ждал от встречи с армянином-националистом. Как историку, мне свойственно романтизировать древние народы – это профессиональное свойство, и вдобавок я идеализирую отдельных представителей древних наций. Я знал, что армяне участвовали в формировании древнемесопотамской, парфянской, византийской, персидской цивилизаций, что они исторически пережили и переспорили ассирийцев и халдеев, Селевкидов и багдадских халифов, византийских и османских императоров. Такой живучий на-

род представлялся издали собранием мудрецов и людей Духа, знатоков истории и культуры... Но вот встретил первого армянина-националиста, то есть не рядового человека массы, а как бы борца за национальные идеалы, представителя – в моих глазах – армянской элиты, и происходит у нас такой разговор:

– Чего добивалась ваша организация?

– Зе́мли! Зе́мли! – как граммофон, отвечает Арарат.

– Вы требуете вернуть Армении ее земли? – догадываюсь я: эту историю немного знаю. – Какие именно?

– Наши исторические.

– Все-таки, какие точно?

– Ну, во времена Тиграна... – начал решительно и вдруг замолк.

– Земли Турецкой Армении?

– Да! Да! – он был обрадован, что я сам сформулировал.

– Где должна пройти западная граница будущей Армении?

Молчит Арарат.

– Где будет столица будущей Армении?

Молчит Арарат.

– Как вы думаете оградиться от турецкой опасности?

Молчит Арарат.

Наконец, после паузы промычал:

– Это другие люди знают... – и ушел прочь. И больше со мной не разговаривал.

Только через несколько месяцев я догадался, что не так уж туп и темен был Товмасян, но вел он тонкую игру с гебистами за "помиловку" (о ней расскажу потом) и, видимо, не хотел раскрываться незнакомцу, любопытствующему и потому подозрительному еврею. Но это я потом сообразил, когда поднабрался лагерного опыта, а поначалу беседа сильно меня обескуражила.

Другим армянином в зоне был юный, чернявый, смуглый, худой как щепка Размик Зограбян. Тяжело давался ему лагерь – изматывал и голод, и жуткие для южного чело-

века "пайка", "баланда", "сечка", и особенно холод средней полосы России. В марте – исход зимы, это самое тяжелое время для лагерников. Каждая зима выматывает силы почти без остатка. Я еще не знал этого, только видел, что Размик ходил ссутулившись, ежился, втягивал руки-ноги в темную форму, словно подстреленный в крыло скворчонок, который не может взлететь и волочит перья по земле. И говорил он медленно, с трудом выпуская слово за словом. Особенно угнетало, что никак не давалась ему норма на "швейке" – вместо 72 пар рукавиц он успевал сшить меньше 50. Начальник постоянно грозил карцером. Только после убытия Зограбяна из зоны рассказал мне его приятель, украинец Зорян Попадюк, что Размик – один из самых отважных боевиков Национальной Объединенной партии Армении и срок у него громадный – десять лет лагерей и ссылок! Сам Зограбян ничего не рассказывал ни о деле, ни о себе – и, глядя на него, я, помню, думал: мальчик не выдержит срока, подаст помиловку (в скобках: подача прошения о помиловании считается у зэков-политиков делом позорным). Где мне, зеленому, было угадать будущее, в котором Зограбян "перешел на Статус", то есть отказался выполнять все требования лагерного устава МВД СССР, и был наказан за это новым судом и отправкой на три года во Владимирскую крытую тюрьму, став таким образом "кавалером Почетного легиона" политических заключенных. Но до этого пройдет немало времени... А тогда, в марте семьдесят пятого, я пробовал расспрашивать Размика о его организации, о ее истории, целях, тактике, и на все вопросы, увы, получал стереотипный ответ:

– Этого я не знаю. Это у нас один Айрикян знает.

Довольно быстро мы разобрались, что всезнающий Айрикян и есть тот самый молодой парень, севший "по второму заходу", о котором рассказывал капитан в вагонзаке. Размик резюмировал:

– Второго, как Айрикян, нету во всей Армении. Один у нас такой!

Недели три, может, четыре, общался я с армянами. Но вот в начале апреля, помнится, началась утром беготня, суматоха среди надзирателей, и когда мы выстроились для выхода в рабочую зону, из строя вдруг выдернули и увели на вахту обоих армян. Произошло это настолько внезапно, что никто не успел проститься с Размиком. Мы просто не поняли, что его уводят – навсегда.

Что все-таки случилось? Надо выяснить...

Когда надо что-то на вахте выяснить, в зэковские игры вмешивается постоянный на такой случай участник – цеховой электрик Владимир Кузюкин. До ареста он был капитаном советской армии, связистом, получил пять лет срока, как сказано в приговоре, за распространение "листовок ревизионистского содержания" – видимо, за протест против вторжения в Чехословакию, в котором сам участвовал (о содержании листовок, впрочем, он не распространялся, так что последнее – мой домысел, опирающийся на странную формулировку приговора). Кузюкин некрасив, лицо желтоватое, иссечено глубокими морщинами и напоминало слегка пропеченное яблоко; и фигура у него вовсе не офицерская, а сутулая и неуклюжая. Начальство зоны поставило экс-капитана на теплое, "придурочье" место электрика зоны, и это дало ему уникальную возможность добывать лагерные новости у надзирателей и офицеров: он чинил им бесплатно электроприборы, а они в благодарность рассказывали то, что ему хотелось узнать, – немудреные секреты вахты и местной этапной службы.

Услышав, что лагерному "верху" нужно узнать, куда и почему "дернули" армян, Владимир Иванович засуетился, куда-то сбегал, вернулся таинственный, и, обходя цех, якобы поправляя что-то в проводке у швейных машинок, рассыпáл по рабочим местам добытую информацию:

– Наших армян дернули вне плана. "Воронок" за ними не прислали. Сидят на вахте, дожидаются. Арарата повезут на девятнадцатую зону...

Девятнадцатая зона – наш ближайший сосед в Мордовии.

– ...а Размика, похоже, готовят на дальний этап. (На Пермь – М.Х.) Отдельно от них держат на вахте еще одного зэка. Неизвестно, кто он, но похоже, что армянин.

– Почему?

– Его зачем-то вывели с вахты на минуту, видел Салмин...

(Федор Салмин, в войну капитан советской армии, попавший в плен в Крыму и служивший у немцев, досиживал в зоне двадцать четвертый год. Нарядчик, пес лагерной администрации.)

– ...зэк успел Салмину крикнуть: "Передайте привет Арарату".

– Если он новенький, откуда знает, что у нас на зоне Арарат?

– Да вроде не совсем новенький. Салмин его в зонах раньше видел. Только у него срок уже кончался. Я сам не очень понял, что с ним такое... Ладно, скоро приведут – разберемся. Не загоняй, Рувимыч.

Перед концом рабочего дня команда политзэков, пошивших норму, собралась у Кузюкина в инструменталке.

– Привезли крупного армянина, – вычислял замыслы начальства Владимир Иванович. – Его боятся держать вместе с другими армянами, и наших срочно кинули на этап. Парень молодой, поэтому Размика аж на Урал бросают, чтоб не появилось никаких контактов.

Прошел развод с работы, нас по одному пропустили через обыск при входе в зону (процедура, описанная Солженицыным очень точно), тут новая проверка – и ритуал окончания работы завершен. Вижу, что группа политиков столпилась на центральной аллее зоны, обсаженной деревьями и клумбами, как раз у места, где стоит щит с цитатой из А.Гайдара: "...крепко любить эту землю, которую называют нашей советской родиной". Наверное, обсуждали новости – их лучше обсуждать на воздухе, подальше от подслушек и ушей явных сексотов-активистов.

Внезапно из барака, находящегося на другом конце аллеи, выходят двое молодых парней. Оба в новеньких робах, в начищенных до блеска ботинках (не кирзовых сапогах): следят парни за своей внешностью – разумеется, в пределах лагерной формы. Первым шагает маленький, лысый, щеголеватый, напористый, решительный Валера Граур, румынский националист, учитель из Молдавии. Он ветеран зоны, кончает скоро срок (4 года). Чуть позади, как и подобает скромному гостю, следует новичок: высокий, ослепительно черноглазый, до блеска черноволосый, несмотря на "нолевую" стрижку, красавец с умным веселым лицом. Восточный человек – видно с первого взгляда. Оба останавливаются перед группой, и Граур с банкетной торжественностью возвещает:

– Господа! Имею честь представить вам моего старого друга и вашего нового товарища, руководителя Национальной Объединенной партии Армении Паруйра Айрикяна.

Паруйр протягивает руку...

ПЕРВАЯ АКЦИЯ ПАРУЙРА В НАШЕЙ ЗОНЕ

На "круге" вечером я рассказал ему про капитана-армянина из вагонзака.

– Ой! Я так доволен, так доволен, – по-детски радовался знаменитый "политический лидер". – Мне говорили, что после моего процесса несколько армян стали понимать про нашу независимость. Значит, теперь и у какого-то капитана в мозгу прояснилось!

Так мы стали товарищами, что для деятельного человека, вроде Паруйра Айрикяна, означало: он получил право использовать меня в интересах своей борьбы. Тем более, что людей в зоне сидело мало (сучню мы за людей, естественно, не считали), и особого выбора в приятельских связях у Паруйра не имелось. Меня попросили помочь ему установить контакты с волей (просил не сам Паруйр), и само собой, что я согласился.

Кто тогда работал у Айрикяна связником – мне неизвестно до сих пор. Когда он уходил к этому человеку на связь, мой пост "манка", подсадной мишени для сексотов, располагался как раз в противоположном углу зоны – за пустым бараком. В эти минуты я громко начинал вести со своим "опекуном" резко антисоветские разговоры. Вокруг нас быстро собирались известные или подозреваемые сексоты зоны, даже те, что имели задание наблюдать за Паруйром. Их ушные локаторы были нацелены на неосторожную и верную добычу, на болтуна Хейфеца, – каждый старался получше запомнить мои рассуждения, чтоб потом доклад получился обстоятельнее. Никто, кроме меня и украинца Зоряна Попадюка, охранявшего Айрикяна в момент контакта с "ка-

налом", не замечал, что в эти минуты Паруйр куда-то исчезал. Почти год (пока меня не увезли на "профилактические беседы" с гебистами в саранский следственный изолятор) мы ставили этот спектакль, информация уходила в другие зоны Мордовии, в Армению и даже, кажется, на Урал, в Пермские зоны. Насколько связь оказалась эффективной – я убедился лишь через несколько лет, повстречав армян – членов Национальной Объединенной партии Армении: они были отделены от нас караулами, заборами, колючей проволокой, гебистским и эмведистским опернадзором и прочими средствами изоляции, но все, кого я встретил, знали: на семнадцатой "а" сидел "еврей Хейфец, человек Паруйра".

Через две или три недели после прибытия в зону Айрикян объявил товарищам, что 24 апреля он проведет "сухой пост" (то есть пост без еды и воды) и однодневную траурную забастовку в память о жертвах геноцида армян в Турецкой империи в 1915 году.

...Понимаю, что, наверное, не все мои читатели знают об этом жутком эпизоде современной истории, поэтому ненадолго отступлю от событийного сюжета, отступлю в историю армянского народа. Историю армян профессионально я не изучал и судить о ней не могу. Изложу, собственно, не самые факты национальной истории армян, а лишь то, как они отразились в мыслях и характере моего героя, Паруйра Айрикяна.

Итак, к моменту нашей встречи я знал, что в давние времена армяне имели собственное обширное государство, располагавшееся на важнейших стратегических путях тогдашнего мира. Иногда его захватывали могущественные соседние империи на востоке и западе, иногда оно распадалось на феодальные княжества, а потом снова обретало единство и независимость. Последнее независимое царство, Киликийское царство армян, через которое веками шла международная торговля средневековья (там начинался западный отросток "великого шелкового пути" из Европы в Китай), пало давно, во второй половине 14-го века – его покорили

мусульманские правители Египта. С тех пор, то есть уже свыше шестисот лет, земля армян находилась под властью разных завоевателей. К началу 19-го века, например, их делили между собой главные азиатские хищники-империалисты: большую часть армянских территорий захватила Оттоманская Порта, меньшая доля и земель и народа досталась в добычу Персидской империи Каджаров. В обеих империях армянская община считалась "райей" (стадом), ибо она упорно оставалась христианским островом в окружающем мусульманском океане. (Армянская церковь, "Григорианская", – очень древняя, принадлежит к тем монофизитским церквам, которые отделились от единой христианской церкви до Халкидонского собора, то есть за полтысячелетия до раскола христиан на католиков и православных.) Паруйр, однако, подчеркивал, что в Персии армянам жилось много лучше, чем в Турции, и "вообще персы дураки, что согласились принять от арабов ислам. Сохранили бы они национальную веру, зороастризм, мы бы с ними без споров ужились, и такое бы вместе создали государство!.." Вообще его симпатии к тогдашнему, еще шахскому Ирану были заметны сразу.

В двадцатых годах 19-го века в ходе войны Российской державы с Персидской империей северная, персидская часть Армении была отвоевана у мусульман христианским войском. Из "гяуров" персидские армяне превратились в подданных императора-единоверца. Турецкие же армяне, то есть подавляющее большинство народа, остались под властью турок.

С этого момента начинались претензии Паруйра Айрикяна к России.

Подчеркиваю, к России, а не к Советскому Союзу. Он уверял, что сравнительно легкая победа русских в Закавказье объяснялась в значительной мере помощью, которую оказали армии генерала Паскевича тамошние армяне. Якобы им была обещана независимость, потому они присоединились к войскам "белого царя" и обеспечили им победу. "Но армяне были обмануты!" Я не встречал в исторических ис-

точниках сведений о подобном обещании русских дипломатических или тайных агентов, и, по-моему, в Армении тоже мало кто слышал о нем, но не доверять Паруйру не мог: этот двадцатипятилетний парень изучил национальную историю с тщательностью профессионала. Он штудировал в зоне каждый номер "Книжной летописи", постоянно выискивая там книги и брошюры по армянской истории, и не жалел денег на выписку через "Книгу-почтой" нужных монографий и журналов. Все у нас знали: лучший подарок Паруйру – книга по армянской истории (я сам подарил ему на "День освобождения" из внутрилагерной тюрьмы "Список армянских семей, упомянутых в византийских хрониках"). Так что профессиональные его знания сомнений у меня не вызывали, и все-таки я спорил с ним, защищая Россию.

Наши споры не были чисто академическими: все-таки сидели мы в советском концлагере за антисоветскую пропаганду, поэтому история являлась как бы уроком политического мастерства. На прошлом общественном опыте мы хотели понять национальные характеры и традиции народов, способы воздействия на общество, пытались прогнозировать будущее. Так вот, возвращаясь к сюжету, Паруйр не мог простить России, что она постоянно вдохновляла его земляков в Турции надеждами на национальное освобождение. Они поднимались на борьбу, поверив "единоверцам", а те раз за разом бросали их одинокими под кривые турецкие ятаганы!

Мне было интересно его слушать, потому что, по моей оценке, примерно так же в нашем веке складывались отношения Советского Союза с палестинским сопротивлением в Израиле. Слушая Паруйра, я пытался осознать традиционный способ русского воздействия на ближневосточные дела. Сначала СССР обещал палестинским партнерам всевозможную помощь и тем разогревал их естественное, а вовсе не вызванное Россией желание сопротивляться Израилю. Год за годом палестинцы, как некогда армяне, ввязывались

во все новые и новые схватки с победоносным противником и, проигрывая бой за боем, упускали даже те немалые возможности, которые изначально у них имелись. Потерпевшие поражение всегда платят за свое решение рассечь исторический спор мечом, и платеж их неизбежно бывает горьким: "Горе побежденным!" – это было сказано еще в античные времена. Поэтому уже тогда я предвидел неизбежный разрыв арабского мира с СССР, те горькие упреки и даже ненависть к России со стороны бывших младших партнеров, которые она знала и по прежней истории, – от бывших младших партнеров и союзников (от украинцев, от армян, прибалтов). Но я был гражданином советской империи и российским историком и потому мог как бы *изнутри* ощущать логику имперской политики. И видел, что не было сознательного обмана палестинцев со стороны Союза, а просто – переоценка империей своих возможностей, своей мощи, и в итоге СССР не меньше арабов переживал побои и щелчки по носу, которые ему наносили в Леванте. Другое дело, что там, где Союз терял лишь престиж и страдал от щелчков, младшие партнеры – что армяне в прошлом, что палестинцы в настоящем – проигрывали жизнь и родину...

Прошу прощения у читателя, что отвлек внимание этими израильскими рассуждениями, но без них ему не понять, почему мы с Паруйром вообще говорили на эту тему, что мне, тоже ведь персонажу этого сюжета, было за дело до его национально-исторических болей и обид. Но они действительно перекликались с моими заботами... Хорошо помню, как пробовал объяснить Паруйру логику имперской российской политики, аргументируя примером из жизни его самого близкого тогдашнего друга, Валеры Граура:

– За что посадили Граура? Его Молдавия занимала на западном боку Черного моря то же самое политико-географическое положение, что ваша Армения на восточном берегу. Это был христианский анклав на границе Турецкой империи, отделявший мусульманский массив от христианского мира. В 1812 году русские сделали попытку вырвать

Молдавию из-под власти мусульман. Кутузов разбил турецкую армию, занял небольшую территорию до Прута, но как раз в это время Наполеон придвинул Великую армию к русской границе. Кутузов быстренько заключил мир с разбитыми турками и отрезал для России не всю Молдавию, а лишь оккупированный им кусочек. Кстати, русские раньше не собирались аннексировать Молдавию, они обещали ей независимость, и вполне серьезно, – доказательством служит хотя бы то, что когда они через 17 лет снова разбили турок, то не захватили остальную Молдавию, а добились для нее автономии. Но дать в 1812 году автономию маленькому кусочку княжества, захваченному случайно, в результате импровизации Кутузова, – с их точки зрения, казалось нелепым. И – присвоили этот кусочек себе. Потом, в другой войне, действительно, освободили Молдавию, плюс соседнее княжество Валахию, добились для них независимости – так появилась нынешняя Румыния. Но отдать этой Румынии обратно кусок, некогда присоединенный к их империи, было свыше русских моральных сил. Россия вознаградила Румынию другой территорией, южной Добруджей, за союз с нею; Советский Союз дал еще потом в придачу и северную Трансильванию, наполовину населенную венграми. Но вернуть Румынии ее собственную Бессарабию с Кишиневом, чисто румынскую территорию с чисто румынским населением, нет, этого они сделать никак не могли! За что четыре года назад посадили Валерку? Его организация, "Патриотический фронт Молдавии", призывала присоединить советскую Молдавию к румынской – всего-навсего. Прими во внимание: Румыния – страна Варшавского блока, их лагеря, но ей ничего не отдают и ребят сажают. Думаю, в 19-м веке то же самое произошло с твоей Арменией. Сначала русские отрезали себе маленький кусочек – Персидскую Армению. Если бы удалось отхватить тогда же *всю* Армению, они действительно дали бы вам независимость. Если бы они выиграли Первую мировую войну, тоже создали бы независимую Армению. Но не получилось у них. И они прихватили себе ваш кусо-

чек... Смысла для них не было создавать в Ереване Армянское княжество...

Мое подчеркнутое стремление не осуждать другого, не разобравшись в его истинных мотивах, не выслушав все стороны, вызывало в зоне раздражение. Для людей борьбы, действия всякое рассуждение – лишь орудие борьбы, а мозг – только оружие, приспособление для победы, а вовсе не инструмент познания мира. В тот раз Паруйр дал мне хороший урок своей логики, логики строителя, а не созерцателя истории.

– Миша, да ведь в твоем описании русские хуже турок! – вдруг заявил мне. – Будем говорить совсем честно, не на трибуне выступаем. Ведь у турок имелись основания вырезать армянский народ. Началась Первая мировая война. Русский Кавказский фронт наступает, а что в тылу у турок? Армяне готовятся к выступлению на стороне их врагов. Мы-то знаем: не как овцы на бойню наши пошли под турецкие сабли, в некоторых селах армяне сопротивлялись карателям несколько месяцев! Значит, готовились к бою, значит, запаслись оружием, обучили людей – без этого с армией несколько месяцев не повоюешь... Да, турки – звери, они вырезали весь народ подряд, виновных и невиновных, но своя, но звериная логика в их поступках была: они хотели раз и навсегда, пользуясь условиями войны, уничтожить тех, кого считали иноверцами и потому врагами. А русские? Ведь мы решились на борьбу, понадеявшись на их обещания! Если бы не они, турки не тронули бы нас...

– Паруйр, вы *всегда* были врагами турок!

– Жили же как-то веками, – он чуть понизил голос, – приспособились... Не так, как хотелось бы, но все же... При младотурках вообще были политические возможности. Мы не использовали практически ничего, потому что надеялись на русских! Ты говоришь, у них не было плохих мыслей, обмана, коварства, они просто плохо подсчитали свои и турецкие силы. Миша, их ошибка в пятнадцатом году

обошлась нашему народу в полтора миллиона жертв! Пойдем в секцию, я тебе что-то покажу...

В секции он достал из тумбочки монографию доктора исторических наук Степаняна, озаглавленную наукообразно, что-то вроде "К вопросу о германо-турецких отношениях в период Первой мировой войны". Паруйр дал поглядеть книгу. Странное это было сочинение: заглавие имело косвенное отношение к теме, и в наукообразную обертку была просто запрятана история тотального уничтожения народа Турецкой Армении в 1915 году, изредка обрамленная небольшими вставками о роли германских дипломатов и офицеров, старших партнеров турок в этом чудовищном преступлении.

– Ты думаешь, русские не понимают, как они были виноваты перед нами? – спрашивает Паруйр. – Отлично понимают. Поэтому и про армянский геноцид нельзя вспоминать в России. Вот ты, например, много читал на эту тему?

– Мало. Но я же читаю только русские книги...

– Значит, ты читал больше любого армянина. Эту вот монографию Степанян смог опубликовать на русском, а на армянском ее бы не пропустили. И на русском-то она вышла потому, что он зашифровал тему заголовком.

– Да, о заголовке... Я ведь не согласен со Степаняном, что немцы были соучастниками уничтожения армян. Это у него неубедительно доказано. На мой взгляд, все было проще: немцы не хотели портить отношений с важным союзником из-за дела, которое их непосредственно не затрагивало, даже если оно им не нравилось. В конце концов, немцы тоже были христианами, накал мусульманских страстей был им наверняка противен!

– Миша, – стал взывать Паруйр к моему национальному опыту, – вы-то, евреи, обязаны знать, как это делается! Конечно, грязную работу поручают уголовникам, сброду, бандитам, а начальники лишь "опаздывают с необходимыми мерами". Почему ты думаешь, что так поступали только с вами, евреями? С армянами то же самое... Сидели немецкие

проделают турки... Ты же знаешь психологию погромщиков: без согласия властей эта сволочь не пойдет на погром! Так и турки – без немцев не решились бы... Степанян прав на сто процентов!

* * *

Уничтожение армянской общины в Турецкой империи началось 24 апреля 1915 года, и, как я писал выше, Паруйр каждый год в этот день не ел, не пил, не выходил на работу и молился за упокой души земляков.

Акцию 1975 года он постарался провести так, чтоб не вызвать незапланированного раздражения у начальства. Невыход на работу – это серьезное преступление в лагере, поэтому он заранее пошил сверх плана дневную норму (шил он быстро и красиво), и хотя в цеху не сидел, но норму Айрикяну засчитали: 72 пары рукавиц выложил на стол контролера ОТК вместо него Зорян Попадюк. Другое серьезное преступление в глазах администрации – *коллективная* акция. Поэтому Паруйр просил нас не голодовать вместе с ним: "В этот пост – не надо". Лишь по окончании голодовки, вечером, он подошел к лагерным друзьям и пригласил их на поминальную трапезу по жертвам 1915 года.

В гости к Паруйру, в лагерную столовую, пришел весь лагерный "верх"–даже сверхосторожный дневальный по кухне, "пунас Пятрас" (господин Пятрас), Пятрас Казимирович Паулайтис. Голубоглазый, высокий, прямой, как кипарис, старик был в молодости богословом – учился в Ватикане, был и юристом (учился в Лиссабоне, у будущего президента Португалии Салазара, которого называл "мой профессор"), служил дипломатом в литовском посольстве в Вене, в 1941 году стал одним из организаторов восстания литовцев в тылу у отступавшей Красной армии, потом, при немцах, был посажен за протест против германского террора в Литве, а после победы СССР ушел в новое подполье и ре-

дактировал газету в одном из военных округов литовской лесной армии. Выданный на явке, он получил срок и с тех пор сидел в зонах почти тридцать лет – с небольшим перерывом в 1956 году, а впереди было еще пять лет срока. Причем большую часть этих тридцати лет (кажется, лет девятнадцать) он провел не у нас, на строгом, а в лагере особого режима: там питание много хуже, и свиданий, переписки, передач с воли в два раза меньше, там заключенные целыми днями заперты в секциях тюремного типа... По случаю его семидесятилетия администрация и КГБ перевели старика к нам, на строгий режим, и он старался теперь не раздражать их демонстрациями: в любой день могли законно вернуть обратно на спец. Но отказаться от приглашения Айрикяна и не помянуть единоверцев, отдавших жизнь за Христа, оказалось свыше сил пунаса Пятраса. Пришел он с молитвенником...

Перед началом трапезы Паулайтис прочитал поминальную молитву, и мы стояли вокруг стола и повторяли: "Аминь". Потом армянскую молитву прочитал Паруйр и – запел песню. Впервые в этот день я услышал его голос – льющийся, гибкий, звонкий. Большой талант певца пропал у Айрикяна. Скорбь и любовь слышались в непонятных словах...

Как раздобыл Паруйр обильную и богатую еду, те редкостные даже на воле, а в зоне вообще невозможные продукты, что стояли тогда на столах, – его тайна! "Ба-га-тый армянин!" – крякнул Валера Граур, увидев угощение, и, восточный человек, хозяин слушал его с плохо скрываемым удовольствием.

На русских поминках бывает обычно разгульная шумиха, у армян – скромная тишина. Вполголоса говорили за украинским столом о геноциде на Украине в 1932-33 гг., когда в ходе искусственно вызванного голода умерло несколько миллионов украинских крестьян. Помню, разговор у них начался с заметки в свежей "Правде" какого-то кубинского писателя. Писатель вспоминал типичную буржуазную клевету времен его детства: мол, кубинские газеты со-

общали тогда, что люди на Украине мрут от голода, и он, может, и поверил бы в такое, но как раз в те самые дни увидел на причале гаванского порта судно под красным флагом, привезшее советский хлеб для продажи кубинцам... Украинцы вспоминали, как вымирали тогда целые села, целые районы. Литовцы за своим столом помянули послевоенную Литву, когда эшелоны везли сотни тысяч заключенных в Сибирь...

Я сидел рядом с Паруйром и хорошо помню наш с ним разговор. Говорили мы о судьбах своих народов, изгнанников, веками лишенных государства. Есть ли грех, что чужое горе заставило меня вспоминать о своем?

– ...Ничто в истории не совершается без последствий. Любое нарушение морального закона как будто задевает Бога, и он карает человечество за измену его наказам...

Ужасно высокопарно я выражался, но на меня действовала атмосфера мордовского лагеря, где поминали погибших шестьдесят лет назад армян, поминали их люди разных народов и вер, и это как-то само собой настраивало на ненатурально-торжественный, церковный, что ли, тон беседы.

– ...Я читал, что Гитлер учил своих, когда убеждал их начать геноцид против евреев: "Сморите, турки вырезали всех армян – и этого никто не помнит. Никому нет дела до чужого народа" – и он убедил таким примером и себя, и своих. Ваша катастрофа, Паруйр, стала для него исторической репетицией нашей катастрофы...

Неожиданно в разговор вмешивается парень кавказского типа, с горбинкой на носу, лукавыми глазами и шикарными усами, но на самом деле чистокровный украинец – Виталий Лысенко. В прошлом блестящий капитан-лейтенант Балтийского флота, штурман разведывательного судна, он накануне назначения в адъютанты к командующему Балтфлотом был арестован за "недоносительство". Его друг, тоже капитан-лейтенант, решил завербоваться в агенты "Интеллидженс сервис" и предложил Виталию стать компаньоном в деле. Лысенко отказался, но на друга не донес. Когда

тот попался, Виталий получил за недоносительство (впрочем, квалифицированное как "соучастие", ибо он пообещал другу в случае провала позаботиться о его жене и детях) семь лет лагерей.

– А как отнесся к армянскому геноциду Сталин? – спрашивает меня Виталий.

– У нас рассказывали, что Сталин – незаконный сын армянского фабриканта, а отец, сапожник из Гори, прикрыл грех матери... – вскользь замечает Паруйр. – Мы с посторонними обычно об этом не говорим, такой земляк чести не делает...

– Про Сталина ничего не знаю, – отвечаю Виталию. – Но ведь он был наркомом национальностей, вел переговоры с палачами армян Энвером и Джамаль-пашой, когда они заигрывали с большевиками. Значит, изучал их дела, их прошлое. Да и вообще, Сталин, Гитлер – оба не имели опыта государственной работы, оба ловили уроки практической политики из опыта таких же выскочек на политической арене, как они сами, из дел младотурок, например... Это, конечно, тема для будущего историка: изучить, как армянский геноцид повлиял на стиль мышления тех, кто потом проводил "окончательное решение" национального вопроса...

(Говоря в скобках, я думаю, что оба они ошибались – Сталин и Гитлер. Народы мира не забыли армянский геноцид, просто было стыдно публично признаться в своем позорном бездействии. Но зато, когда война окончилась поражением держав Центральной Европы, то даже с Германией, с главным противником, не обошлись так беспощадно жестоко, как с Турцией: ту обкорнали почти до размеров эмирата времен Османа, она стала, как нынешняя Албания, разве немногим больше. Это уже Кемаль-Ататюрк отвоевал своей стране более приличное, хотя все равно второстепенное положение в мире.)

– ...Почему Антанта оказалась такой беспощадной в Севрском договоре с Турцией? Потому что народ, позволивший проводить геноцид по отношению к другому народу, вы-

черкнул себя из списка тех, кто достоин если не сочувствия в поражении, то хотя бы понимания мотивов. Что могли возразить турецкие дипломаты, когда Антанта резала их страну по живой плоти? Туркам напоминали, если они смели возражать: "А что вы сами делали с армянами, когда сила была на вашей стороне?". Свое падение в пропасть бандитского Севрского договора Турция готовила, когда ее гады убивали армян!

– Почему ты называешь Севрский договор бандитским? Я думаю, это был справедливый и правильный договор... – начинает Паруйр, но в этот момент дверь столовой распахнулась, и в проеме показался скуластый, курносый, с лицом хулигана и мускулами борца надзиратель Черепаха.

– Приказываю разойтись!

Будто муха погудела в столовой и затихла... Черепаха побагровел:

– Расходитесь! Хуже будет!

Мы, правда, прекратили разговаривать и занялись содержимым тарелок. Один Костя Диденко, моряк с десантного судна, осужденный на 15 лет за попытку бежать со своего корабля в мальтийском порту Валлетта, пробурчал: "Не пугай, начальник, мы тут сами хулиганы". Черепаха достал из кармана лист бумаги и начал карандашом записывать гостей Айрикяна. "Ага, и дневальный здесь! Фамилия?" Паулайтис улыбнулся и, не удостоив мента ответом, молча оттянул робу на груди и показал нашивку с фамилией. Черепаха вписал его последним и, пробуя "сохранять лицо", гаркнул:

– Внимание! Вызываю караул!

Судя по его тону, это, наверное, считалось страшным действом. Но так как никто из нас не знал, что оно такое, мы не обратили внимания.

Он наконец не выдержал унизительного игнорирования и исчез. А в нашем настроении появилась... перчинка, что ли? Острое, резкое, помню, было настроение – как перед дракой.

Вдруг в столовую вбежало новое действующее лицо –

персональный сексот Айрикяна по линии МВД, некий Петя Ломакин. Так как ему придется не раз появиться и в судьбе Айрикяна и, следовательно, на этих страницах, расскажу о "Пэтре Пэтровиче" чуть подробнее.

Думаю, было ему лет двадцать. Сын профессионалки-нищенки, воспитанник Белевского детдома, изгнанный из "альма матер" за "гадость характера" (так написала ему бывшая воспитательница, и он суетливо показывал это письмо соузникам), наш Петя унаследовал мамину профессию и стал профессиональным нищим. Внешность у него – будто с газетного шаржа: с одного боку лицо перекошено параличом, зато с другого излучало жуликоватость и плутовство. Усохшая рука, волочащаяся нога – все это вызывало жалость, если бы не соединялось непостижимым образом с феноменальной юркостью и живостью бродяги и профессионального афериста. За что я ценил Ломакина – он никого не мог обмануть, его роль в лагере была ясной с первого взгляда. Совсем недавно он потерял пост персонального стукача при украинце Дмитре Квецко, этапированном на Пермь, и почти сразу получил место при Айрикяне: им даже койки рядом начальство поставило, чтоб все выглядело ясным. Любопытный штрих: Петька был весьма честолюбив; он всерьез планировал, что за хорошие доносы на Айрикяна КГБ обеспечит его будущее. Я звал его "большевиком" – Ломакин охотно откликался: полвека назад он несомненно стал бы комиссаром при товарищах Сталине или Буденном. Все у него имелось для такой должности: социальное происхождение из низов; легкое отношение к чужой собственности; энергия и выносливость; неуемное желание выдвинуться; зверское честолюбие и готовность за выдвижение заплатить своему начальнику аморальной преданностью, не знающей пределов, пока начальник в силе, плюс готовность предать этого же начальника, если фортуна сделает поворот вниз на своем колесе; безумная говорливость при полном отсутствии знаний; вдобавок отличные анкетные данные – ведь при любом строе Ломакин обязательно

сидел бы в тюрьме и, следовательно, во время революции должен был числиться пострадавшим от "старого режима"!

Ко времени нашего знакомства Петька делал второй "заход": первый срок он отбыл в бытовой зоне (насколько помнится, за воровство), но был отпущен на полгода раньше определенного приговором срока – "за хорошее поведение". Зато во второй раз он уже сел "за политику". Кстати, более впечатляющего приговора, чем у Пети, я не читал и наверняка никогда не прочту, разве что у какого-нибудь Бухарина или Ягоды. Во-первых, наш Петюнчик замышлял террористический акт против "выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства" (имя которого не называлось, дабы не осквернять святыню, но Петя скромно пояснил мне во время чтения приговора: "Имеется в виду Брежнев"). Во-вторых, он пытался взорвать государственные и общественные здания. В-третьих, намеревался уничтожить корабли Тихоокеанского флота СССР. В-четвертых, ему инкриминировалась попытка завербовать в агенты иностранной разведки адмирала флота, командующего на Тихом океане. ("Я отправил ему письмо, – со скромной застенчивостью признавался Петя, – если вы, товарищ адмирал флота, сегодня вечером не согласитесь стать агентом "Интеллидженс сервис", то до наступления полуночи вас повесят в собственной квартире".) Из мелких обвинений запомнилось, что обвиняемый Ломакин П.П. неоднократно звонил в местные управления Комитета государственной безопасности и произносил в их адрес угрозы "характерным хриплым голосом", как было отмечено в тексте приговора. Обычно Петя вел кочевую жизнь на папертях областных городов, не брезгуя и выманиванием денег из кассы доверчивых профсоюзных боссов по методу "детей лейтенанта Шмидта". Напившись в областном центре, он перед убытием и баловался звонками в местные ГБ – почему именно в ГБ, сатана знает! Попался он аж на восточном краю советской земли – во Владивостоке. Его взяли на выходе из ресторана, где Петя так и не дождался адмирала,

вызванного за столик вербоваться. Сей эпизод переполнил чашу долготерпения сотрудников генерала Андропова. Но судили уважаемого Петра Петровича не за хулиганство и аферы, а за вышеупомянутый джентльменский набор, и за все про все выдал ему советский суд в награду два года заключения (плюс постановил отбыть те полгода, которые он не досидел в первый раз за "хорошее поведение"). Конечно, и следователи КГБ, и судья не хуже вас, мои читатели, понимали вздорность и комедийность политического дела, но начальникам политических зон нужны помощники-"активисты", и вот капитан МВД Зиненко, толстозадый хам-начальник на семнадцатой "а", получил возможность прикрепить постоянного опекуна к Айрикяну.

Петя, кстати сказать, оказался "шустряком" и сообразил быстро, что его задание заключенным ясно, и если работать на капитана добросовестно, отлучат от зэковского сообщества, информация перестанет поступать, и капитан Зиненко безжалостно накажет. Поэтому он стал работать "двойником" (шефом его среди зэков был Граур) и, ошиваясь возле начальнических кабинетов, подслушивал там, подсматривал и переносил нам много важной информации (мне, например, благодаря его сведениям, удалось избежать опасной ловушки капитана). Взамен он, естественно, сообщал начальнику информацию о зэках и получал от того "сучьи льготы". До поры до времени мы с общего согласия терпели Ломакина в нашей среде.

...Он вбежал в столовую, где проходила поминальная трапеза, и заверещал "характерным хриплым голосом":

– Паруйр! Караул вызвали! Приехало все начальство в штаб. Пять капитанов там сидит: начзоны, опер, замполит, наш Зиненко, еще кто-то! – предупредил и тут же смылся.

В дверях снова показался Черепаха:

– Всех присутствующих вызывают в штаб!

Мы двинулись толпой на "вызов". Смеялись. Что они могут сделать посаженным в зону людям? В карцер посадят? Раньше сядем – раньше выйдем! И вообще – все там будем.

И хорошо, что будем все вместе – как здесь. Локоть к локтю – против начальства. С Паруйром Айрикяном во главе.

Кроме того, у нас был заготовлен сюрприз.

Утром, когда Паруйр относил в ящик заявлений траурную декларацию, я отправился к стенду со свежей "Правдой". Кажется, кроме меня, ее никто не читал: зэков воротило от, как они выражались, "пропагандистской блевотины". Я же прочитывал все подворачивавшиеся в зоне газеты и журналы, включая "Мордовскую правду", и извлекал оттуда массу интересной информации. Достаточно было отбросить пропагандистскую аранжировку фактов, запомнить цифры, даты, имена и потом сопоставлять их – и ты получал почти полное представление о том, что творилось в большом мире. Впоследствии начальство проводило обыски на зоне, подозревая, что мы собрали из деталей радиоприемник и слушаем Би-Би-Си или "Голос Америки". А вся информация шла из советских газет и журналов.

И вот в то утро я вместе с Паруйром отправился к стенду (ящик для заявлений висел рядом) и... увидел огромную, на два подвала статью академика Амбарцумяна, осуждавшую геноцид в Турецкой Армении 1915 года.

Еще совсем недавно армянских патриотов сажали, и не куда-нибудь, а именно в нашу зону, когда они смели напоминать про эту трагедию своему народу. А теперь – статья в "Правде"... Москва отступила, Москва вынуждена отказаться от замалчивания позорных страниц истории (как нелегко добиться от нее такой уступки!).

– Смотри, Паруйр!

– Наша большая победа...

Он произнес эти слова непривычно тихо.

Именно эту "Правду" и нес под мышкой, направляясь в штаб. К пяти капитанам.

Вышел оттуда минут через десять, легкой, танцующей походкой победителя. Мы все сидели толпой на крылечке штаба, дожидаясь хозяина поминок и демонстративно не обращая внимания на окрики надзирателей.

– Ну?

– Суд собрали, – широко-широко улыбался Паруйр.

"Айрикян, на каком основании вы устроили в столовой антисоветское собрание?" – "Не понимаю, гражданин начальник, о каком антисоветском собрании говорите. Мы отпраздновали выход сегодняшней "Правды". – "Что???" – "Вы, конечно, читали!" – "Напомните, Айрикян". – "В "Правде" есть статья о наших жертвах геноцида. Ко мне подошли друзья в зоне, поздравили. Это большое событие, что коммунисты признали нашу национальную трагедию. Я пригласил отметить "Правду" в нашей столовой. Разве не разрешено?" – "Вы нас поняли, Айрикян, неправильно. Мы здесь собрались по другим делам, по производственным. Ваш бригадир доложил, что вы сегодня отлучались с рабочего места. Верно?" – "Какое его дело? Я норму сдал? Сдал. На сто один процент. Что ему еще от меня надо?" – "Да, конечно, раз норму сдали, могли отлучиться от машинки. Надзиратель докладывал, что вы пели за столом. Что пели?" – "Я пел: "Пусть больше никогда не повторится геноцид". Вы разве против, гражданин начальник?" – "Что вы, Айрикян, вы нас неправильно поняли. Нам было интересно узнать – и все. Идите в секцию и работайте, как работали до сих пор".

После Паруйра начальники все-таки тягали нас по одному на разбирательство: не могли же они признать, что подняли тревогу, потому что не прочитали утром свежий номер директивной "Правды". Мы же, чувствуя выигрышную ситуацию, дерзили безнаказанно и выходили из штаба всегонавсего с "предупреждением". Наказали только одного человека – и, как всегда водится, самого беззащитного, на ком неопасно сорвать злость. Маленький, щуплый, нервный Николай Уколов, бывший переводчик советской военной миссии в Ираке, вернувшись из Багдада и попробовав стандартную советскую жизнь с очередями и нуждой, решил бежать за Запад через финскую границу. Я не очень понял, что там произошло, но, по его рассказу, существует ложная

советско-финская граница: когда беглец миновал ее, он решил, что – уже "там", а до настоящей-то границы оставалось еще несколько километров. Перестав скрываться, Коля попал в руки патруля. Не знаю, что в его рассказе правда, что нет, но в лагере этот одинокий парень, о котором никто в мире не думал, оставленный даже семьей, оказался вовсе беззащитен. На нем и отыгрались начальники. Они подготовили фальшивый рапорт, подписанный совершенно сломленным цеховым механиком (украинец, обер-лейтенант вермахта, осужденный на 25 лет и досиживающий из них двадцать четвертый год), и лишили бедного Уколова права купить на этот месяц дополнительные продукты в лагерном магазине-"ларьке". Пострадал человек, который вообще к армянам никакого отношения не имел.

Паруйр положил ему руку на плечо и распорядился:

– Сделаем фонд для репрессированных. Нас тут сколько? Одиннадцать человек? Каждый месяц будем вносить в фонд по пятьдесят копеек с человека в пользу того одиннадцатого, которого лишат ларька. Как раз наберутся законные пять рублей. Согласны?

– За...

– Валера, фонд будет на тебе. В этом месяце соберешь пять рублей для Уколова.

Так на зоне семнадцатой "а" появился "Фонд имени Паруйра Айрикяна", как его в шутку называли. И зона уже закрылась, и Паруйр давно ушел, а фонд продолжал действовать в мордовских зонах год за годом.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ПАРТИЯ АРМЕНИИ

Как читатель помнит, наш разговор в столовой был прерван Черепахой, когда Паруйр вдруг похвалил Севрский договор, заключенный странами Антанты с побежденной Турцией после Первой мировой войны.

– Да, Севрский договор – это авторитетный документ, – подтвердил Айрикян назавтра, когда мы продолжили разговор. – Его подписали десятки государств. Если мы начнем говорить с турками о возврате наших земель, такой документ пригодится...

Мне стало скучно. Во-первых, я помнил, что даже подписавшие этот договор державы его официально аннулировали, заменив Лозаннским договором. Во-вторых, по-моему, безумие начинать разговор с Турцией даже с упоминания о Севрском договоре. Если армянское национальное движение находится на такой детской стадии, что предъявляет соседям невозможные претензии вместо того, чтобы заниматься пусть безумными, дерзкими, смелыми, но *делами*, значит, это еще и не движение, а просто игра, в которую балуются политиканствующие мальчики.

Паруйр вдруг улыбнулся. Умная была улыбка, лукавая.

– Конечно, мы не надеемся, что кто-то примет Севрский договор всерьез. Но мы же на Востоке. У нас всегда торгуются, а тут такой прейскурант подвернулся – неужели упустить? А до чего договоримся – в конце торговли увидим.

– Ты веришь, что турки могут отдать хотя бы часть вашей территории?

– Почему нет? У них наши земли пустуют. Население уходит на запад, к Средиземному морю. Армения стоит го-

лая. Да и те, кто у них там живут, тоже частично омусульманившиеся армяне. Побывали наши туристы, разговаривали. "Мы, – рассказывают, – были когда-то армянами, существовал здесь такой народ". Они даже не слышали, что после геноцида где-то уцелели армяне...

– Ну ладно, пусть ваши земли у турок стоят пустые, но отдавать их вам зачем?

– Могут захотеть, чтобы между Турцией и Россией находилась страна-буфер... Часть земель отойдет от России, часть от них – и у нас будет своя страна.

Скажу правду: насколько я ощущаю психологию турок, надежды Айрикяна и его друзей на мирное возвращение земель Турецкой Армении с Араратом казались мне иллюзиями. Впрочем, армяне всегда недооценивали и худо понимали турок. Почему? Возможно, фантазирую, но, по аналогии с русскими, которые тоже постоянно недооценивали турецкую силу, исторические события смотрятся так: в отношении к туркам огромную роль у всех христианских народов играло неосознанное, инстинктивное неуважение к тем, чью культуру они привыкли считать низшей. Действительно, если арабы, например, создали великую мусульманскую культуру, которая обогатила все человечество и заставляет даже их противников помнить о скрытом потенциале арабов, то турки-османы не дали миру ни одного великого писателя, мыслителя, композитора, изобретателя... На древе исламской цивилизации культура Оттоманской Порты казалась соседям бесплодным отростком. Думается, поэтому и самую нацию, составлявшую коренное население азиатской империи, окружавшие народы привыкли считать пустой и бездарной. Но это оказалось ошибкой: и у нее имелся свой талант – воинский. Ни победы Румянцева или Суворова, ни походы Скобелева или Гурко не могли сломить будто росшую из земли-матушки турецкую военную мощь! А ведь Россия обладала едва ли не лучшей в мире в те годы сухопутной армией. Русские политики и дипломаты, обманутые культурной бездарностью южного соседа, совер-

шали один и тот же просчет и наталкивались на неизменное, яростное сопротивление там, где они ждали встретить лишь агонизирующего "больного человека Европы". Думаю, армяне совершали ту же самую ошибку, что и русские, пока армян просто не вырезали бандитскими саблями в 1915 году!

Нет, никому, и сегодня тоже, не стоит забывать про скрытую до поры до времени потенциальную мощь турецких аскеров. Это я пытался внушить Паруйру – не знаю, достаточно ли успешно. Мгновенный разгром греческой армии "черных полковников" на Кипре – сегодняшнее доказательство, что турки остались турками, и забывать об этом не следует никому, и армянам в особенности.

Однажды мы разговорились с Айрикяном о независимой Армянской республике, возникшей на территории бывшей Персидской (а потом Российской) Армении после 1917 года. Нас в институте учили, что турецкая армия во главе с Ататюрком едва не уничтожила тогда, в конце двадцатого года, молодое государство и почти добила остаток армянского народа, но Красная армия остановила Кемаля-пашу и спасла российских армян.

Паруйр вскипел, когда я все это пересказал:

– Мы разбили турецкую армию, когда создали свою республику, и снова их бы разбили, если бы с севера нас не атаковала Одиннадцатая армия красных. Нас взяли в клещи: с юга шли турки, с севера – большевики. Русские не спасли нас, а помогли Кемалю ликвидировать наше государство и получили за это часть наших земель, а остальное отдали туркам.

Неужели верно, что Ленин помог туркам? Скорее всего, Паруйр упрощает: Ленин вырвал у соперника добычу... И все-таки, почему так ничтожно мало рассказывали нам об армянском геноциде 1915 года или о том, как Армения снова вошла в состав России? Почему обо всем этом предпочитают молчать?

– Что ты знаешь про Нахичевань? – методично добивал меня Паруйр.

Каждый, кто взглянет на карту советского Закавказья, не может не заметить странного расположения границ между тамошними республиками. На востоке территория Армении переходит в некую "трубу", зажатую с северного края основной территорией Азербайджана, а с южного фланга – Нахичеванской областью того же Азербайджана, отделенной от своей республики "армянским коридором". Таким образом, Нахичеванская область как бы взята в окружение Арменией и Ираном, охватившим ее с юга.

– Это была когда-то наша земля, – объяснял мне Айрикян. – Ее захватили турки. По мирному договору между Лениным и Кемалем турки отдали Нахичевань России, но с условием – не возвращать ее обратно армянам. Ленин передал эту землю Азербайджану. Я же тебе говорил, что они вдвоем Армению делили...

Все-таки я историк и поэтому доверяю не рассказам, пусть самым убедительным, а документам (это вовсе не мое достоинство, так как часто как раз рассказы достовернее документов, но просто профессиональное свойство). Поэтому пошел в лагерную библиотеку и отыскал там географический справочник по СССР. Увы, Айрикян сказал правду: еще в двадцатые годы, согласно демографическим таблицам, население Нахичеванской области состояло более чем на восемьдесят процентов из армян; сейчас их там практически нет.

– Нахичевань – наша историческая земля! Как Карс и как Эрзерум...

– Как Киликия, – ехидничаю я: Киликия, она же на юге Турции, на самой границе с Сирией.

– Киликия тоже, – не поняв шутки, соглашается он.

Господи, неужели темпераментным юношам непонятно, что нельзя начинать борьбу, предъявляя территориальные претензии буквально всем соседям! Неужели они не в силах сообразить, что в этой ситуации их государство будет задав-

лено сразу! Как шутил остряк в зоне, "щенят топят, пока они маленькие"...

– Паруйр, а вы не забыли, что с юга у Армении всегда будет Турция, и у нее есть старый опыт обращения с армянами?

– Нет, не забыли. Но не боимся. Во-первых, Турция изменилась, все-таки она сейчас в НАТО, с культурными странами общается. Во-вторых, остается Россия...

– Но ведь вы против России!

– Мы не против. Мы – за. За независимость Армении. Если Россия будет за независимую Армению, мы тоже будем за Россию. Можем, – опять он улыбается, – как это Хрущев говорил? – перечеркнуть исторические наслоения. Если во главе России будут стоять люди вроде Сахарова, мы всегда будем друзьями России.

С этого разговора Паруйр и начал понемногу вводить меня в суть программы его организации – Национальной Объединенной партии Армении (он всегда называл ее сокращенно – НОП).

* * *

– Было полвека с начала геноцида пятнадцатого года, и армяне вышли на демонстрацию к памятнику Жертвам, – через пятнадцать лет рассказал мне армянин, уже в Германии. – Такого в СССР никто и никогда не видел. Нас было сто тысяч. Сто тысяч! Люди шли, и шли, и шли, и кричали "Зе́мли!", и лица у них были такие, что мне показалось: все, советская власть в Армении кончилась. А назавтра – все уже снова было как позавчера, будто эта демонстрация мне приснилась. Я до сих пор не понимаю, как такое могло случиться...

Стихийная демонстрация – вещь в СССР невероятная, и по указу Москвы был немедленно наказан, то есть смещен с должности местный "хозяин", первый секретарь ЦК республики Заробян. Но прямые репрессии против демонстрантов оказались тогда на удивление беззубыми: дело в том,

что лозунг демонстрантов "Зе́мли! Зе́мли!" (то есть "Возвратить Армении ее земли в Турции") звучал для кремлевских лордов приятно и не вызывал у них злобы. Они еще помнили, как в 1946–47 гг. Сталин готовился к войне с турками и собирал со всего света армян под знамена маршала Баграмяна.

Правда, Сталин не любил ввязываться в войны (он обычно добивал армией беззащитные жертвы или тех, кто казался таковыми), и когда Трумэн сделал ему внушение ("доктрина Трумэна"), быстро отозвал войска назад, а под расправу вместо эрзерумских турок попали ереванские армяне-патриоты. Но все же Брежнев и К°, поклонники Сталина в Кремле, запомнили с тех пор, что в лозунге "Зе́мли! Зе́мли!" не было особой крамолы. Видимо, поэтому задержанные ереванской милицией демонстранты были отпущены домой через сравнительно небольшие сроки.

По словам Айрикяна, НОП (Национальная Объединенная партия Армении) была задумана в камерах предварительного заключения в те несколько часов, когда там сидели группы демонстрантов 1965 года.

– Это идея Гайка Хачатряна, – рассказывал Паруйр. – Он потом отошел от движения. На моем процессе проходил свидетелем и сказал в открытую: я теперь не в НОП. Но в шестьдесят пятом он сделал великое дело: понял, что нужно армянскому народу, и сделал партию. Это его историческая заслуга, хоть он уже не наш, не ноповский человек.

Первым, кто поддержал Гайка и вступил в НОП, стал студент Степан Затикян: он и помогал лидеру отстраивать систему подпольной организации.

НОП была тогда классической подпольной партией, вдохновлявшейся, по-моему, "ленинской организацией нового типа" (хотя, возможно, я просто не знаю национальных образцов). Железная дисциплина, "демократический централизм" в ленинском понимании этого термина, клятва верности, присяга, знамя, повиновение командиру и т. д. и т. п. В структуру такой организации по традиции включают мо-

лодежный филиал или отряд. В НОП он назывался "Молния". Во главе этого отряда Гайк и Степан поставили семнадцатилетнего Паруйра Айрикяна.

Чем они занимались в "Молнии"?

– Воспитывали людей для НОП. Но понимаешь, почти никто не знал, что мы лишь молодежная организация при НОП, что куда-то их готовим. Думали, что мы самостоятельны...

Конспирация была, видимо, поставлена неплохо: уже раскрыв "Молнию" и арестовав руководителей, гебисты так и не установили, что перед ними не самостоятельная организация, а филиал НОП.

Молодые парни устроили нелегальную типографию, печатавшую литературу, посылали "прозелитов" на первое испытание опасностью: писать на стенах домов лозунги НОП несмываемой краской... Ходили походами по историческим местам Армении, пели хором национально-патриотические песни. Когда кто-то из юношей выделялся в делах, его "выдвигали в партию" – передавали в хозяйство Гайка и Степана. Избранник "Молнии" приносил клятву верности у памятника жертвам геноцида 1915 года, и с этого момента все приказы руководства военизированной организации считались для него обязательными.

Сколько НОП насчитывала бойцов? Однажды, как мне показалось, Паруйр намекнул на это:

– Гебисты смеются: кому, кроме тебя, нужен в республике референдум о независимости?! Я говорю в ответ: выпустите меня на свободу, и через две недели положу на стол заявление с просьбой о референдуме, подписанное четырьмястами армянами.

Тогда-то я и подумал, что это необычное число – четыреста, – видимо, и составляет наличный костяк организации, число людей, принесших присягу.

(Наверное, здесь, на Западе, число "четыреста" покажется ничтожным. Но вспомните, что вербуются только приятели членов организации, то есть лишь узкий круг людей

вообще узнает о ее существовании и еще более узкий – о путях проникновения в подпольную структуру. Приплюсуйте то, что простое членство в НОП карается лагерным заключением, а вербовке в организацию препятствует профессиональная тайная полиция – армянское управление КГБ. Если в *этих* условиях Паруйру и его друзьям удалось связать организационной сетью четыреста человек – они совершили громадное по значимости дело.)

...Как-то вечером мы сидели вдвоем (остальные ушли на киносеанс) и болтали о жизни. Вдруг Паруйр достал из тумбочки фотоальбом и показал снимок девушки удивительной, по высшим стандартам голливудских красавиц, внешности.

– Подруга времен "Молнии".

В тот день он в первый раз рассказал мне что-то не о политике, а о личной жизни.

– Мы работали вместе. Выпускали журнал. Типография была хорошая, надо было только номер подготовить. Товарищ дал редакции квартиру. Работали, когда его не было; что́ мы делали, он не знал, но догадывался. В общем, понимал – квартира нужна НОП, а для чего, не спрашивал. Я диктовал статью, она под диктовку печатала мои и другие материалы на машинке. У нас сначала в мыслях ничего такого, кроме НОП, не появлялось.

(Зная Паруйра, подозреваю, что это у *него* других мыслей не появлялось, кроме политических, а насчет девушки – я лично так категорически не утверждал бы. По-моему, трудно восемнадцатилетней девушке проводить вечера наедине с обаятельным, красивым, умным, страстным парнем – и думать только об Армении и ее независимости. Ох, побьют патриоты!)

– Однажды вечером... весной... Я ходил из угла в угол и диктовал ей статью. Тепло было. Мы долго работали, устали. Ей стало жарко. Раскрыла окно, села отдохнуть на подоконник. Я подошел улицу посмотреть, нет ли гебистов,

я всегда так делал, и неожиданно мы обнялись и поцеловались.

Не думал об этом. Само получилось. Сказал: осенью пришлю к твоим родителям сватов. Она ответила: буду ждать.

Недели через две за ними пришли оперативники.

– Мы опять работали, я по привычке выглянул в окно и увидел, как они идут к дому. Быстро командую: "На улице гебисты! Раздевайся!". Она, умница, сразу поняла. Мы заранее ни о чем не договаривались, но она сбросила платье... Осталась в одной...

Тут он остановился в поисках нужного русского слова. По-русски он говорит с легкостью, но всегда в пределах историко-политико-культурных тем. А на этот раз понадобилось слово из необычной для зэковского разговора сферы... Или он его знал, но просто стеснялся произнести? В нем еще оставалось много детского – в этом лидере.

В общем, девушка осталась в одной комбинации. Паруйр тоже скинул верхнюю одежду, они сомкнули объятия; в таком виде их и захватили оперы армянского управления.

Конечно, на месте преступления были захвачены рукописи и другие улики, достаточные, чтобы предъявить Айрикяну обвинение. Но ситуация "любовного свидания" отводила подозрения от девушки.

Гебисты – не дети и не наивные юнцы, но у них не имелось против нее улик в ситуации, которую успел выстроить Паруйр:

– Ее продержали трое суток в следственном изоляторе. Она молодец: не испугалась, ничего им не сказала. Потом следователь, уже после конца следствия, рассказал: вызывает ее на допрос, он что-то скажет, а она поднимет глаза и цитирует стихи про шакала, который напрасно воет на луну. "Это что?!" "Это Байрон", – отвечает. Несколько раз прочитала ему Байрона, он отпустил ее домой.

Так же благополучно закончилось следствие для хозя-

ина квартиры. Да, передал Айрикяну ключ от квартиры, думал, тому нужна хата для любовных игр, а если что не так – друг подвел... Поскольку в деле было записано, что Паруйра задержали в момент любовного свидания, опровергнуть такую версию было тоже невозможно, и парня не вызвали даже свидетелем в зал суда.

Короче, первое следствие кончилось для Паруйра относительно благополучно, несмотря на юный возраст и абсолютную неопытность. Только один эпизод он вспоминал много лет спустя с ужасом.

– Шел допрос. Обычный, как всегда. Вдруг входит в кабинет начальник – я понял, это фигура, когда мой стал перед ним заискивать. "Запирается?" – "Да". Тот ко мне: "Почему не откровенен? Хочешь по максимуму получить? Думаешь что-то от нас скрыть? Думаешь, мы не знаем, как называется организация, на которую вы работали? – и раздельно, по слогам произнес: "На-ци-ональ-ная Объ-еди-ненная пар-тия!". У меня в сердце – смерть наступила. Что "Молния" – филиал НОП, почти никто не знал, самые-самые надежные. Если здесь узнали – нас предал кто-то в руководстве НОП! Первый раз в жизни я по-настоящему струсил. Предательства не мог перенести. Понимаешь, в этот момент меня сломали, я был не я. Из одного упрямства жалобно говорю: "Ну вот, вы говорили, что честно будете дело вести, а сами какие-то страшные обвинения выдумываете, чьи-то эпизоды на меня вешаете". Наверное, следователя задело – я сам себе не поверил, когда услышал – он к тому обращается по имени: "Ты, говорит, ошибся делом, тут не НОП, мы с ним сейчас разбираем другую организацию". – "А-а, другую? Ну тогда я пойду". Чуть-чуть меня не купили как последнего... как это по-русски говорят... фофана? Мог бы что-нибудь от страха сболтнуть.

Ему дали в тот раз четыре года строгого режима. Прокурор от ГБ потребовал семь лет, но суд не согласился: "ограничился" четырьмя.

– Тогда многим ноповцам судьи дали меньшие сроки,

чем просило ГБ. Все-таки армяне сочувствовали армянским патриотам. Москва была сильно недовольна, сняли первого секретаря армянского ЦК, в КГБ тоже прислали нового начальника – неармянина...

– Нашего гада, из Молдавии перевели, – тихо проворчал подошедший к нам Валерий Граур.

– Моего судью я потом, когда срок кончил, встретил в городе. В трамвае увидел. Подошел к нему: помните меня? Как тебя, отвечает, сынок, не помнить, из-за тебя меня с работы выгнали. В архив перевели. Я, объясняет, меньше четырех лет тебе дать не мог. Если б дал меньше, прокурор опротестовал бы приговор и в высшей инстанции тебе выдали бы семь лет. Что для тебя как для армянина мог сделать – снять со срока три года, – я сделал. Спасибо, сказал ему, в моем сердце не осталось на тебя обиды.

– А как та девушка? Дождалась?

– Писала в зону. Я ответил раз. Попросил бросить писать и забыть меня навсегда.

– Почему?!

– Моя жизнь такая, что не имею права жить любовью и заводить семью. Мое сердце принадлежит Армении, и жизнь – тоже ей. Девушка для может быть моим товарищем по борьбе, и тогда это самый дорогой друг, самый близкий человек. А большего не должно быть.

Ей-Богу, если бы сам, вот этими ушами, не слышал таких слов, – себе бы не поверил. Решил бы, что автор сочиняет сказание в героико-романтическом духе начала 19-го века. Первый и пока что единственный раз в жизни наблюдал подобный феномен, хотя, казалось бы, чего не навидался в ГУЛАГе!

– Если бы переписывались, она ведь дождалась бы меня обязательно. Через четыре года поженились бы, появились бы дети. Любовь лишила бы меня силы. Я видел, что она делает даже с очень сильными людьми. Нет, Миша, или любить, или бороться!

* * *

О первом, четырехлетнем сроке Айрикян рассказывал мало. Как-то раз вспомнил, что все четыре года отсидел на "тройке", участке одного из соседних лагерей.

– Ты не был там ни разу? Совсем мало места, меньше, чем тут. Даже цех в том же бараке, что и жилая секция. Удобно: надоело шить, пошел в секцию, почитал, вернулся в цех, доделал норму. Режим намного мягче, чем здесь. Это так задумано, как клетки для опытов: тут клетка с жестким режимом, а там с мягким, они опыты проводят, как с зэками управляться. Но очень уж там тесно. Если недолго – ничего, а когда четыре года в такой зоне – вышел я на волю оттуда и испугался: не могу смотреть вдаль. Отвык. Всегда был перед глазами забор – отвык от перспективы, от горизонта. Трудно.

В другой раз сказал:

– Четыре года в зоне – самый лучший срок. Ты все успеешь узнать. Если меньше – пока следствие, суд, кассация, этап – почти полсрока пройдет, и в последний год меньше наблюдается, уже о воле думается. Лагерь не понять, если меньше четырех лет. А если больше дадут, так на пятом году уже все знаешь. Четыре года – самый лучший срок. Я в первый раз отсидел и все узнал, а сейчас мне скучно.

* * *

Звездный час Паруйра прошел между освобождением из Мордовии и вторым арестом в Ереване. Он длился всего несколько месяцев. В момент его возвращения на родину НОП переживала острый кризис.

Что делать дальше? Старые методы явно бесперспективны: КГБ знает примерный круг борцов, и ликвидация восстановленной организации займет скорее всего несколько часов.

Молодые подпольщики ждали выхода из заключения

старых вождей – Гайка и Степана. Но те сами не понимали, как действовать в новых условиях.

Паруйр уверял, что Гайк вообще отошел от движения, Степан же...

Правда есть правда: в дни нашего знакомства в 1975 году Степана он ненавидел.

– Верили: придет Степан – научит. И знаешь, что вышло? Он влюбился! Любовь уничтожила в нем мужчину! Он забыл ради Нее Армению!

Девушка, ради которой Степан покинул НОП, оказалась... родной сестрой Паруйра Айрикяна.

– Я звал его на борьбу, он отвечал: ваши действия бесполезны и безнадежны. Когда такой Человек, как Степан, оставляет борьбу, – это для организации хуже любого предательства!

Его будто проколюли насквозь. С искаженным лицом выговорил:

– Прислал сватов. Свадьбу сыграли по всем нашим обычаям.

Потом достал только что полученное из дома письмо с фотографией. На снимке – его сестра с ребенком. Ребенком Степана.

И вдруг он завопил, буквально завопил:

– Лучше бы она пошла на улицу, чем жить с человеком, который изменил НОП! Лучше на улицу!

...Когда через два года я напомнил ему об этом разговоре, Айрикян искренне удивился:

– Неужели я такое мог сказать? Нет! Ты ошибаешься, Миша. Этого не было.

Но это было. Потому и врезалось в память – уж слишком невероятным, неправдоподобным казалось.

Чтобы сразу закруглить сюжет, связанный со Степаном Затикяном, зятем Паруйра, забегу здесь вперед на три года – в июнь семьдесят восьмого.

6 июня 1978 года меня выпустили из пересыльной тюрь-

мы в ссылку. Это был, наверное, самый тяжелый день моего заключения – куда тяжелее, чем, например, день ареста. Попробую объяснить внятно. Меня, как любого ссыльного, везли из лагеря на место ссылки очень долго: помнится, пятьдесят одни сутки. Наконец выпускают на так называемую волю. В кармане – ни копейки: иметь деньги заключенным не разрешается. Конечно, на моем текущем счету в лагере довольно значительная сумма – заработок за четыре года работы в заключении, – но получить ее можно лишь телеграфировав в Мордовию свой адрес, а как раз на телеграмму-то у меня и нет денег. Нет денег и на то, чтобы сообщить родным, где я, и получить перевод от них... Нет паспорта, чтобы мне выдали перевод на почте, чтобы пустили в гостиницу – не только потому, что оформление паспорта занимает время, но и потому, что нет денег сфотографироваться на паспорт. Нет жилья – я никого не знаю в незнакомом городе и не могу снять комнату, у меня опять-таки нет денег, чтобы внести аванс хозяину. Не на что поесть: право на казенную пайку я уже потерял, а на вольную еще не заработал. Нет денег даже поехать на автобусе в то место, где возьмут на работу, – билет на автобус тоже стоит денег. Первую ночь на воле я переночевал в камере, куда меня пустил дежурный милиционер (кстати, вопреки распространенному мнению, среди работников милиции встречается совсем не мало хороших, неглупых и даже добрых людей, хотя вроде бы профессия к таким качествам вовсе не располагает). Наконец, как мне казалось, я придумал выход: решил пойти на междугородный телефонный узел и заказать разговор с домом "за счет вызываемого лица" (по-западному – "коллект"). Увы, и в этом мне отказали: в провинциальном городе не слышали о таком виде услуг. Измученный, присел я на почте за столом и увидел забытую кем-то "Правду". Машинально потянул к себе и увидел первую новость из "большого мира", первую за пятьдесят одни сутки, которые я провел по этапным вагонам и пересыльным тюрьмам. ТАСС сообщало: по делу

о взрыве в московском метро арестованы Степан Затикян и два его сообщника.

Почти час я не мог встать с места; ноги не слушались. Было ясно: это смертный приговор. Что теперь скрывать – тогда я поверил "Правде". Думал: может, Степан обманул Паруйра? Может, отказ от правозащитного пути был для него маскировкой подготовки к террору? Нет, вряд ли. Если он привлек к делу кого-то еще (ведь у Степана было двое "подельников"), почему не попытался использовать Айрикяна, верного, уже испытанного следствием и лагерем борца? Боялся сообщить о террористической акции человеку, который был способен от нее отказаться? О таких делах должны знать только те, кто должны, и ни один лишний? Нет, к Паруйру это ограничение не подходит... Я мысленно перебирал варианты, пробовал представить, как жилось Степану, человеку, видимо, сильному и мощному, как жилось в любимой семье, когда в эти же годы сидел в Мордовии любимый его ученик, вовлеченный им в дело брат его жены? Как мог смотреть Степан в глаза тестю и теще, зная, что пока он блаженствует с детьми, Паруйра бросают в карцер и лагтюрьму? Как грызла его совесть и мучил долг перед Айрикяном? Что ему было делать? Честного, прямого выхода не появлялось, а в таком состоянии человека с натурой борца может охватить безумие, отчаяние, жуть, и он ринется в дело – пусть дикое и страшное, но все-таки в дело – в то, что мирит борца со своей судьбой... Я думал не об одном Степане – вспоминал о Паруйре Айрикяне, одном из самых близких друзей; как *он* теперь будет жить – после гибели Степана, учителя, зятя, друга. Только бы его не унесло тем же отчаянием – молил я Бога – только бы он нашел силу устоять на *своем* пути!

* * *

Но вернемся из будущего в тот далекий 1973 год, когда Паруйр Айрикян после "этапирования на освобождение"

прибыл в Ереван и занялся там реорганизацией НОП.

Вместо юноши, с восторгом подчинявшегося вожакам организации, привезли в Армению политика, окончившего высшие курсы общественной борьбы в СССР – мордовские лагеря строгого режима.

Несколько слов об исторической ситуации той эпохи. До начала семидесятых годов оппозиция в СССР была рассечена не столько политически, сколько географически: оппозиционеры разных областей и регионов империи чаще всего не слышали друг о друге. Начало объединению положила московская инициативная группа (во главе ее стоял Петр Якир), открыто объявившая об оппозиционной деятельности и давшая легальный адрес, используемый для связи нелегалами по всей стране. Но едва ли не более важным центром стали тогда же мордовские политические лагеря, где борцы со всех концов империи собрались наконец вместе – под крышами бараков в лагерях строгого и особого режимов.

Еще в конце пятидесятых годов Сталин точно рассчитал, что пора отделить политиков от бытовиков, чтобы приостановить революционизирующее влияние оппозиционеров на массу рабочих, составлявших основной контингент лагерей. Он был со своей точки зрения прав, но вместо одного зла ему пришлось выбрать второе – хотя и меньшее.

Прежде политики были как бы растворены в массе бытовиков. После указа о создании особлагов "фашистов" собрали в нескольких точках, в нескольких камерах бесконечного Архипелага. Теперь они смогли "обнюхать" друг друга, учиться и учить. Университет оппозиционных наук и исследований, созданный в Мордовии по воле КГБ, каждый год выпускал на волю новых выпускников. Не случайно в концу семидесятых годов в КГБ вошли в обычай внутрилагерные суды с добавлением новых сроков зэкам, еще не успевшим закончить первый срок: это была реакция спохватившихся чиновников на деятельность революционного центра, который они сами и организовали.

Айрикян еще успел кончить этот "университет" и по-

явился среди армян с запасом усвоенных там новых политических идей. Застав организацию в кризисе, он решил, что начать выход из него можно, лишь изменив программу НОП. Организационная структура, созданная Гайком и Степаном, вполне удовлетворительна, но цели и лозунги следует видоизменить. Так появилась на свет "вторая программа НОП".

Прежде самый популяный лозунг НОП гласил: "Зе́мли! Зе́мли!", ибо территория Турецкой Армении с ее символом, Араратом, – святыня для каждого армянина-патриота. Но Айрикян знал: политика – это компромисс разнонаправленных сил. Чтобы в будущих договорах с соседями получить хоть что-то, требуется заранее, до начала переговоров, уже представлять силу. И значит, начинать борьбу следует с создания независимой Армении хотя бы на тех землях, которые уже есть, то есть на территории Армянской ССР.

Но какой может быть программа, цель которой – независимость Армении?

Прежде всего из новой программы был изгнан антикоммунизм. Раньше, как я понял, НОП была обыкновенной антисоветской организацией. Теперь по предложению Айрикяна все антисоветские пункты были удалены не только из программы, но и из идеологии НОП.

И это не являлось примитивной уловкой с целью избежать полицейских преследований. Паруйр с самого начала понимал, что армянских патриотов будут по-прежнему судить за "антисоветскую пропаганду" или "за измену родине" – с юридической практикой КГБ он уже был знаком. Но для него отказ от антикоммунизма носил принципиальный характер.

– Паруйр, но ведь ты не любишь коммунизм?

– Конечно. Но это мое *личное* к нему отношение. Оно не должно связываться с борьбой армян за независимое государство.

Мы сидим на скамеечке возле цеха в обеденный пере-

рыв, и он рисует прутиком на песке прямоугольник, разделенный на семь горизонтальных полос.

– Это флаг НОП. В нем все цвета радуги. Вот этот, верхний, – красный цвет. Если завтра ко мне придет Демирчян* и скажет: "Айрикян, я коммунист, я был и остаюсь им, но я патриот Армении и хочу для нее независимости" – ответ будет один: ты – мой брат, мы примем его в партию. Гебисту, если он патриот и за независимость, я отвечу так же. На одном из процессов над членами НОП случился такой казус (Паруйр иногда употреблял юридические словечки): судья стал упрекать одного из свидетелей, молодого парня, что он двуличный – был ноповцем и комсомольцем. Ноповец ответил правильно: "Может, комсомол имеет ко мне претензии, что я был в НОП, но у НОП нет возражений, что я был в комсомоле". В этом смысл названия: Национальная *Объединенная* – все члены нации, включая, а не исключая коммунистов, должны быть едины в общей цели – получении независимости Армении.

– А кто будет править в независимой Армении?

– Кто победит на выборах... Если победит Демирчян, мне это будет неприятно, но я подчинюсь выбору нации и буду жить при советской власти как законопослушный гражданин, – он опять щегольнул словечком, явно заимствованным из лексикона следователей. – Во всяком случае, любой армянин может иметь право быть кем угодно; если хочет, пусть он будет коммунистом. *Обязан* он быть только патриотом.

Я сразу понял, насколько новая программа НОП была тактически выгоднее прежней. Во-первых, коренная ломка советского общества пугает обычного советского человека. Он уже понюхал одну революцию, и ему на долгие годы ее хватит: обещали рай на земле, а устроили очереди в мага-

---

* Демирчян – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении, "наша армянская сучня", как отрекомендовал его Паруйр, показав мне, где стоит "персек" на фотографии в "Правде".

зинах даже за картошкой. Ничего доброго от новой битвы за справедливость он не ждет. Программа НОП не угрожала ломкой основ: в конце концов, независимость, пусть относительная, есть у Польши, Румынии, Югославии – и не угрожает же им Россия за это войной! Программа НОП выдвигала такую цель, которая – хотя бы теоретически – оказывалась достижимой без кровопролитной войны с метрополией.

Кроме того, в тоталитарном государстве втянуты в систему управления десятки, если не сотни тысяч людей. В подавляющем большинстве они члены КПСС, и, во всяком случае, все граждане, владеющие навыками государственного управления или простого администрирования, обычно являются членами правящей партии. При антикоммунистическом перевороте новая реальность грозит таким людям *личной* гибелью или, в лучшем случае, крахом жизненных достижений. Поэтому они почти автоматически становятся врагами оппозиционеров. Между тем идеология "по Айрикяну" открывала патриотически настроенной номенклатуре новые и достаточно привлекательные горизонты. Субъективно, во всяком случае, ноповцы не казались им преступниками...

Третий момент – практический. Конечно, новая программа НОП, у которой ампутировали антикоммунизм, не избавляла ноповцев от преследований гебистов. Но она ставила следователей и обвиняемых в выгодную для арестованных патриотов ситуацию. Те могли без лукавства и хитрости отрицать официальные обвинения, а следователи КГБ, образованные и квалифицированные юристы, хотя лучше обвиняемых знали, что в "интересах целесообразности" обязаны предъявлять ноповцам фальсифицированный криминал, но знали и то, что армяне не виноваты в *формальном* нарушении законов СССР. Это придавало силу обвиняемым и надламывало их противников!

Я пробовал ловить Паруйра на противоречиях:

– Разве члены НОП не сожгли портрет Ленина на главной площади Еревана?

– Сожгли, – признавал Паруйр. – Ну и что? Его жгли не как коммуниста. Коммунизм нас не касается. Мы сожгли портрет человека, который отдал приказ Одиннадцатой армии лишить Армению независимости. Он сделал это? Он наш враг. Его коммунистические идеалы мы не трогаем: иметь их – его право. Захват нашей страны не имеет отношения к коммунизму.

Еще одно новшество, новый принцип программы – отказ от русофобии.

– Мы против русских колонизаторов. Мы против московских опекунов. Армяне–древний цивилизованный народ, который сам может управлять своей судьбой. Если Россия это признает, она наш естественный союзник.

– Но ваши люди писали на стенах лозунги: "Долой русских!".

– Это у них старая привычка, от прежней программы осталась. Их пробовали судить по статье, которая карает за разжигание национальных противоречий. НОП дала указание отрицать это обвинение. Мы против национальной вражды. Я тебе говорил: мы не *против* русских, мы *за* – независимость. Каждый русский, который поддержит идею нашей независимости, – наш брат. Это записано в уставе НОП: членом организации может быть не только армянин, но человек любой национальности, борющийся за независимую Армению. Поэтому против русских как нации, против народа их – мы ничего не имеем. Мы только против колонизации.

Он подумал немного:

– Вот тебе пример. Когда меня посадили по второму заходу, спросили: кто будет твоим адвокатом. Я отвечаю: могу выбрать адвокатом любого гражданина СССР. Любого адвоката, поправляют. Нет, говорю, любого гражданина – я не новичок в этих делах, уголовно-процессуальный кодекс знаю. Прошу дать разрешение послать просьбу академику Сахарову – быть моим адвокатом на суде. Приглашаю его в Ереван. – Но он же русский! – Мне такой русский, как он,

дороже, чем некоторые армяне, говорю им. Нет, спорят, мы не можем: он антисоветчик. Если верить вашему обвинительному заключению, я сам антисоветчик, поэтому антисоветчик Сахаров как адвокат меня устраивает. Они не соглашаются, я настаиваю: мое право – кого хочу, того выбираю. Наконец они уступили: ладно, защищай себя сам – только не Сахаров. Поэтому я и сумел быть своим защитником. А Сахарову послал приглашение приехать на процесс, посмотреть.

– Приехал Андрей Дмитриевич? – любопытствую я.

– Нет, не смог. У него как раз сын женился. Такое событие раз в жизни бывает – свадьба сына, не мог он бросить своих. Я не обижаюсь, понимаю: свадьба сына. Как можно ее пропустить!

Мое лицо в этот момент бесстрастно, но спокойствие стоит немалых усилий. Паруйр не должен догадываться, что я внутренне улыбаюсь над его наивностью: обидится. А мне он этой наивностью еще более симпатичен. Какой бы он был молодой человек, если бы не верил всерьез, что его судьбой и борьбой озабочено все справедливое человечество, что академик Сахаров готов был оставить все дела и приехать в Ереван, поглядеть, как Айрикян на суде будет держаться, но свадьба сына помешала.

...Наконец, важным программным новшеством, внесенным Айрикяном и его молодыми друзьями во вторую программу НОП, стало требование легализации НОП.

Члены НОП решили использовать ту статью советской конституции, которая объявила получение независимости одной из союзных республик легальным действием. Что каждая союзная республика имеет право отделиться от СССР – это нам всем в школе преподавали на уроках конституции, но Айрикян и его друзья залезли в тайные ущелья советской юридической литературы и обнаружили, что был, оказывается, предусмотрен законом даже механизм получения подобной независимости. Независимость можно было законно получить путем референдума!

Статью конституции придумали авторы – Бухарин и Радек, расстрелянные в следующем году. Сталин утвердил их сочинение, потому что рассматривал конституцию лишь как декоративную завесу, пригодную для украшения действительности 1937 года (тогда конституцию приняли). Он не опасался эксцессов, связанных с введением *такой* конституции и *таких* законов, потому что в уголовном кодексе, то есть в сборнике "нормативных актов", существовала знаменитая 58-я статья с подпунктом об "измене родине". В перечне преступлений, обозначенных этим жутким термином, значилось "покушение на территориальную целостность СССР". Следовательно, любой гражданин СССР, принявший всерьез конституционное обещание о "самоопределении вплоть до отделения", безусловно подпадал под действие закона об "измене родине" и подлежал наказанию до смертной казни включительно.

Любопытно, что сама идея референдума, то есть всенародного опроса, настолько чужда практике советского человека, настолько представляется нам несоветской, что, например, я, человек с высшим гуманитарным образованием, интересовавшийся специально проблемами права в советском обществе, никогда не слышал, что в Союзе есть законы о референдуме. Только Паруйр восполнил этот мой пробел в знании отечественного права.

Несомненно, требование легализации и провозглашение целей партии законными с позиции советского права чрезвычайно усилили позиции НОП как в глазах ее членов, так и в глазах противников. Читателю, знакомому с этим правом на практике, мое утверждение должно показаться невероятным, но я видел сам: когда гебистов и эмведистов ловят на нарушении советских законов, это, как ни странно, действует на них удручающе. Не знаю, в чем причина: ведь они знают, что действуют по приказу власти, которая сама эти законы издала, следовательно, не будет в гневе, что слуги ее официальные инструкции нарушают, выполняя ее же секретные предписания – а вот поди ж, действительно, мо-

рально они весьма угнетены, когда схватишь за руку в момент нарушения официального закона. Я думал над этим парадоксом и пришел к единственному объяснению: гебисты и гулаговцы знают, что если действуют в рамках *писаного* закона, то наказывать их за это смогут только в случае свержения советской власти, и то – у них будут сильные защитительные аргументы. Но акции противозаконные, пусть даже совершенные по приказу начальства, могут быть наказуемы при любой смене администрации: зачем выполнял противозаконное приказание покойника имярек? В общем, так или не так, а постоянный рефрен заявлений Айрикяна в зоне: "Мы требуем от власти только одного – выполнения законов, изданных советской властью, в тех случаях, для которых эти законы написаны" – явно смущал покой начальников и создавал Паруйру особое положение в зоне. Так же было, видимо, и в Армении.

Вопрос о референдуме – нелегкий вопрос для националистов в СССР. Старое поколение борцов считает эти новомодные референдумы кощунством: "У нас были национальные государства, завоеванные кровью наших предков; нас лишили независимости силой, а теперь мы должны еще спрашивать, нужна ли нам независимость!!!". Логика в этих рассуждениях есть: ведь в Союзе живут не племена Африки, только ищущие свой путь исторического развития; в СССР, как правило, национальное движение существует в среде народов, насчитывавших не одно столетие независимого государственного существования, развитие которых было прервано грубой силой могущественного соседа. И все-таки большинство молодых националистов защищало идею референдума.

Для них референдум – не только и, честно говоря, не столько обоснование для возникновения независимого национального государства, но скорее возможность приобщения всей нации к решению вопроса о ее судьбе. Они не сомневаются в исходе всенародного опроса, для них этот исход – предрешенная формальность, молодым важнее сам про-

цесс воспитания и возмужания народа в процессе решения им исторической судьбы.

Однажды мы с Паруйром слышали, как обсуждают вопрос о референдуме на Украине боец "старой гвардии" Дмитро Квецко и ровесник Айрикяна и его друг Зорян Попадюк, руководитель студенческой организации "Украинский национально-освободительный фронт".

– Дмитро, скажи откровенно, – обратился я к старшему, – почему ты возражаешь против референдума? Только честно – мы ведь не на трибуне спорим, а в своей компании. Если не хочешь отвечать – лучше совсем не говори. Может, потому против, что опасаешься: вдруг украинский народ проголосует против независимости?

– За большинство я не боюсь, – ответил Квецко, – но в восточных областях Украины, где много русских переселенцев, там у нас может быть меньше половины голосов...

– Да ты что, в Верховный Совет СССР выборы собираешься проводить? – удивился я. – Тебе обязательно надо собрать 99,9 процентов всех голосующих?

– Если нам дадут хотя бы три месяца легального существования и свободной агитации перед выборами, – заметил Попадюк, – я ручаюсь за победу на референдуме.

Паруйр внимательно слушал спор товарищей. В эту секунду он не выдержал, вмешался:

– Нам, армянам, хватит двух недель...

Свой народ он, конечно, знает.

"ДЕВУШКИ ЛЮБЯТ ПАТРИОТОВ"

В тот неполный год, когда Айрикян провел в Ереване между двумя сроками, у него появилась подруга.

Почему он мне стал про нее рассказывать – не знаю. Может, расположила погода. Мордовия весной на диво прекрасна – знаю, что совестно так говорить о зоне сплошных лагерей, да что поделаешь, если правда: как травы пахнут, как сосны вздымаются великолепными кронами над глухими заборами, эх, к такой земле руки приложить, какую курортную зону можно устроить... Пропадает земля. Так вот, в один из весенних дней, одурманенный винным ароматом мордовского ветра, настоенного на сосне, заговорил со мной Айрикян – о девушке.

Солнце припекало нас, уставших от зимы и голода. Сидели мы возле цеха на шелковой травке, прислонясь спинами к стене барака, ленивые, истомившиеся... Прошел местный цензор; молодой парень пошутил: "О, весь лагерный "верх" собрался. Мое почтение..." Паруйр посмотрел ему вслед и вдруг начал рассказывать.

Он встретил ее на улице и подошел знакомиться. В Армении это не принято, во всяком случае, не принято было тогда, но он рискнул. Имени своего не назвал. "Меня зовут..." кажется, сказал – Вартан.

Девушка испугалась, но, наверное, сильно понравился ей этот юноша – красавец, умница, вдобавок скоро выяснилось – поэт и певец... Как говорят у евреев, Господи, зачем одному человеку столько счастья! Она согласилась встречаться с ним. Однажды его окликнули: "Паруйр!". Он объяснил что-то путаное, мол, у него два имени, Паруйром зо-

вут лишь близкие... Потом призналась: "Ты что-то скрываешь от меня, и мы должны расстаться. Я это чувствовала с самого начала, но тогда это казалось неважным, а теперь... Наши встречи для меня слишком серьезны. Я не могу, как раньше, управлять собою. Все сделалось важным. Если ты не доверяешь мне, значит, я тебе не очень нужна – простимся". Паруйр согласился: по-моему, и для него это чувство стало слишком серьезным, и, как он делал всегда в таких случаях, предпочел оборвать – пока не поздно.

Девушка-то, наверное, надеялась на другой исход...

Почему он скрыл свое настоящее имя?

Зорян Попадюк однажды сказал: "Если бы вы знали, Миша, как девушки любят патриотов...". Наверное, в этом и скрывалась причина "обмана": Паруйру хотелось, чтобы ей нравился безвестный шофер (он объявил себя шофером), с его слабостями, шутками, скромными перспективами, а не романтический, то есть выдуманный герой, лидер, боец, за которым не различить реального Паруйра Айрикяна.

...На следующий день после рассказа о девушке на зоне произошло ЧП. Во время смены вызвали из цеха нескольких "центровых" и предложили пройти в жилую зону. Хорошо пофилонить на законном основании несколько часов, а норму нам бригадир все равно обязан записать! Смотрим, уныло сидит на скамеечке начальник семнадцатой "а", толсторожий, с обрюзгшими мясистыми щеками, с обвисшим широким задом, набитый мускулами капитан МВД Александр Зиненко; этого малограмотного и самоуверенного хама выставили из его собственного кабинета, и теперь он должен сидеть во дворе – зона маленькая, деваться ему некуда. Вид у капитана униженный и сконфуженный: ему, видать, не позволили посидеть даже в лагерной библиотеке, неподалеку от собственного кабинета, чтоб случайно не услышал, о чем там изволят беседовать с зэками. Надзиратели передвигаются по зоне неслышно – ей-Богу, кажется, на цыпочках, хотя в сапогах это вроде бы вовсе невозможно. А кто же сидит в кабинете начальника? Вот оттуда выходит Айрикян

с таинственной ухмылкой, глаза углублены внутрь, поблескивают удовлетворенно...

– Кто там, Паруйр?

– Полковник Дротенко и какой-то гебист. Похоже, инспектор – не то из Саранска, не то из Москвы. По должности-то старше нашего...

– О чем спрашивал?

Но поговорить не дали. В кабинет вызвали меня.

Полковник Дротенко служил начальником отдела КГБ "Дубровлаг", то есть шефом того наблюдательного пункта, который собирал информацию и анализировал ее на месте – в мордовских политлагерях. Как мы поняли позже, реальной власти он не имел: судьбой каждого из нас занималось то управление КГБ, которое вело следствие. Дротенко же и его люди обязаны были, подстерегая у зэков моменты слабости, вербовать их или готовить на "помиловку". Но *решать* эти вопросы должен был не полковник...

Тут, наверное, самое место разъяснить читателю психологическую ситуацию, связанную с "помиловкой", то есть с подачей заключенным прошения о помиловании. По положенному штампу в таком заявлении заключенный обязан выразить раскаяние в содеянном преступлении и обещать, что впредь такое с ним никогда-никогда не повторится!

Недавно довелось прочитать воспоминания политзэка сталинских времен, профессора Г.Тартаковского: "Ведь, как правило, так называемые политические всячески выматывали себе снисхождение, – пишет он. – Блатные же, бия себя в грудь, говорили, что они воры и потому плюют на общество. Это наивно, но все-таки вызывает какое-то уважение к личности, имеющей, пусть в изуродованном виде, но хоть что-то принципиальное в отличие от так называемых борцов против советской власти" (журнал "Время и мы", № 15, стр. 197 – 198). В наше время, то есть в семидесятые годы, нравы установились совершенно другие. Например, политзаключенный, подавший "помиловку", то есть раскаявшийся, пусть неискренне, фальшиво, в антисоветской

деятельности, немедленно отлучался от "общества": с ним не садились за один стол, старались не разговаривать, он получал позорное прозвище "сука". Узнав про это, гебисты стали добиваться подачи "помиловок" – каждая "помиловка" учитывалась ими как серьезный шаг на пути зэка к соглашению и вербовке и, следовательно, как большой плюс в работе опера или всего отдела КГБ. Нередко прошение о помиловании даже удовлетворяли... нет, это неправильно! Неправильно сказано. "Помиловки" подавали очень, очень редко, и поэтому даже те единичные случаи, когда начальство удовлетворяло просьбу о помиловании, составляли все-таки серьезный процент от общего числа "ссученных".

Полковник Дротенко приехал прощупать зэков – лично поглядеть, с кем ему можно "работать" для подачи "помиловки". За этим нас и вызывали пред его очи.

Не буду отнимать время у читателя изложением нашей беседы: она крутилась вокруг "нехорошего поведения" моей жены. "Ваша жена заходила в Москве на квартиры диссидентов!" – "Это мои друзья". – "Плохие у вас друзья". – "У нас разные убеждения и разные друзья, гражданин полковник". – "А если мы за эти контакты посадим ее за такую же проволоку?!" Тут я психанул. "Если вы будете мне угрожать, гражданин начальник, я немедленно откажусь с вами разговаривать. Следствие закончено. Комитет передал меня в руки сотрудников Министерства внутренних дел, и в мои обязанности заключенного, предусмотренные инструкциями МВД, не входит разговаривать с представителями Комитета. Это моя личная любезность, что я пришел к вам на встречу, и угроз я терпеть не стану..." – вот примерно по такому сценарию разворачивалась беседа высоких разговаривающих сторон.

– Какие у вас отношения с Еленой Сиротенко? – спросил полковник под конец.

– ???

– Ваша жена заходила к ней в Москве.

– Видимо, новая подруга жены. После ареста у меня –

спасибо Комитету – появилось так много новых друзей, что всех не могу припомнить.

– Идите!

...На крыльце поджидает Паруйр.

– О чем спрашивал полковник?

– Грозил арестовать жену. Какую-то Лену Сиротенко называл...

– Твоя жена знает Лену?

Так зашел у нас разговор о Лене Сиротенко.

...Еще в Ереване Паруйр Айрикян, вожак Национальной Объединенной партии, понял: если НОП останется в провинциальной тишине и безвестности, никакая новая программа ей не поможет. Гебисты инкриминируют борцам за независимость Армении "измену родине" – и последует наказание вплоть до расстрела. Только гласность, контакт с мировыми средствами информации сделают новую тактику действенной в политической борьбе. Национальному движению армян предстояло сделать новый для него шаг: стать автономной частью всесоюзного правозащитного движения.

Айрикян поехал в Москву.

Паруйр сильно рисковал. Он находился в те месяцы под надзором. "Административный надзор" – малоизвестная форма репрессии. Человек, уже отсидевший весь положенный ему по приговору срок наказания, после возвращения домой попадает под наказание, наложенное местной милицией. Он не имеет права выехать из города или села, где ему разрешили жить, без особого разрешения этой милиции (которая практически такого разрешения не дает никогда); не имеет права по вечерам уходить из своей квартиры; не имеет права приходить в общественные места: вокзалы, рестораны, театры и т. д. без особого разрешения, которое тоже практически не получает. Его гостей всегда могут подвергнуть проверке документов. Самое страшное, что законом не предусмотрено ограничение сроков административного надзора: если заключение в лагерь длится хотя бы определенное и известное по приговору число лет, то надзор

формально может длиться хоть всю жизнь бывшего заключенного. Я где-то читал, якобы срок надзора ограничен тремя годами. Не знаю, в юридической литературе таких сроков не установлено. Возможно, три года – это максимальный срок, допускаемый практикой, после которого бывшего заключенного, признанного неисправимым, отправляют в зону на новый "заход". Кстати, за нарушение надзора, скажем, за неоднократное появление в театре или за выход в город после восьми часов вечера, полагается по закону мера наказания – три года лагерей.

Паруйр, освободившийся после первого срока, находился под таким надзором. Когда он уехал в Москву, то сознательно нарушил закон и рисковал новым сроком. Кстати, по второму заходу арестовали его именно по такому обвинению – за "нарушение режима". Только в тюрьме, через несколько месяцев, изменили статью обвинения на "антисоветскую пропаганду".

В Москве он встретил Лену Сиротенко... Не знаю, почему именно на ее квартиру вывела его судьба – он никогда не рассказывал, как познакомился с ней, да я и не спрашивал. В зоне неприлично спрашивать о том, что товарищ не рассказывает сам. Его альбом был заполнен большими фотографиями "подруг", но Лена прислала лишь маленькую, три на четыре сантиметра, фотокарточку, да еще имелась у Паруйра групповая фотография, где в центре сидел пропущенный по невежеству цензурой Андрей Дмитриевич Сахаров, а где-то сбоку выглядывало юное девичье лицо в крупных очках: Лена... Так я догадался, какой повод их свел. "Моя невеста", – называл ее Паруйр.

Неармянскому читателю, наверное, трудно представить себе всю невероятность этого чувства. Паруйр, национальный лидер, безусловно отвергал любые смешанные браки. Он сам рассказывал мне, что на суде ответил кому-то, не то прокурору, не то кому-то еще, что "даже животные предпочитают самок своего вида". Наверное, эти проблемы не слишком понятны и кажутся даже каким-то дикарским

пережитком в среде сильных наций, которые давно отстоялись в процессе истории и для которых смешанный брак кого-то из общины либо просто его личное дело, либо выгодный для нации процесс, позволяющий укрепить ее ствол за счет прививки чужой крови, чужих, отборных генов. Поиному на такой брак смотрят в общинах, которым грозит ассимиляция, уничтожение, – в первую очередь, в общинах народов, которые не имеют собственной государственности, как бы гарантирующей устойчивость нации. Там смешанный брак часто рассматривается как символ национальной измены – и нередко он таким и является. Можно представить, какая моральная дилемма встала перед Паруйром, когда он, лидер националистов-армян, почувствовал любовь к инокровной девушке!

С Леной я не знаком, но догадываюсь по собственному еврейскому опыту, что у нее ситуация была не легче. Лена Сиротенко ведь не просто еврейка, она – верующая еврейка, а в этой общине брак с "гоем", то есть с христианином, традиционно проклят. Вот эпизод, характеризующий Лену.

В 1978 году моя жена возвращалась из места моей ссылки в Казахстане в Ленинград с пересадкой в московском аэропорту. У нее было секретное послание, которое я просил передать Лене от Паруйра. Жена моя неохотно принимала такие поручения, но для Лены, служившей ей своеобразной опорой в годы моего заключения, и для Паруйра, одного из моих близких друзей, она – рискнула. Из аэропорта позвонила Лене и через родителей попросила ее приехать в Шереметьево – встретиться.

Но Лена, увы, не взяла трубки и не ответила – тем более никуда не поехала, хотя не могла не понимать, о какой весточке идет речь. Полет моей жены проходил в... субботу, когда верующей еврейке запрещено говорить по телефону и ездить куда-либо на транспорте. Думаю, Лена значительно превысила самые строгие требования иудаизма, который в случаях, угрожающих жизни человека, разрешает и даже

настаивает на нарушении "святости субботы". А весть от человека из зоны строгого режима должна быть приравнена к тем случаям, когда позволено субботу нарушать... Но Лена в этих вопросах святее главного раввина!

Паруйр однажды изложил мне их "любовный разговор":

– Ты понимаешь, что я армянин – значит, христианин?

– А я – верующая еврейка.

– Чем же тогда все это может кончиться?

– Не твоя забота, любимый. Мое право – быть с тобой, пока ты сидишь, а когда выйдешь – тогда увидим, что будет дальше.

– Ты, наверное, не поняла, что мне сидеть – десять лет.

– Вот десять лет я и буду с тобой. Когда срок кончится, ты свободен от любых обязательств...

– Но я не могу, не хочу принимать это.

– Тебя, милый, никто не спрашивает. Я это решила – за себя и для себя.

– Ты будешь жалеть, что твоя жизнь прошла...

– Единственное, о чем я жалею, что у нас нет сына. Большего мне от тебя не надо – не беспокойся.

Вот такие неправдоподобно-литературные страсти пылали в Союзе в семидесятые годы. Если бы я придумывал эту повесть, я бы сочинил нечто более правдоподобное и менее чувствительное, в духе трезвого и несентиментального двадцатого века, нечто такое, чему бы читатель поверил. Но у меня пальцы над клавиатурой пишущей машинки не поднимаются искажать неправдоподобную правду, свидетелем которой я оказался по воле ленинградского управления КГБ.

Чем Лена покорила Паруйра? Почему ради нее он пошел на огромную для последовательного националиста жертву – отдал ей свое сердце? Говоря честно, армянские девушки, присылавшие ему свои фотографии, были красивее Лены, и, уверен, преданность и верность их была бы не меньшей, чем у нее.

Я думал об этом: в конце концов, в лагере достаточно времени, чтобы думать обо всех ситуациях, свидетелем ко-

торых ты оказываешься. Любая самая преданная армянская патриотка была для Айрикяна... как бы выразиться... человеком подчиненным. Бойцом в той армии армянского сопротивления, где он считался генералом. Лена, видимо, оказалась первой *ровней* ему среди женщин, первой, которая полюбила его не потому, что он патриот, что он лидер, что он сильнее и умнее ее – она не уступала ему ни в цепкости ума, ни в практической хватке, ни в способности привести в систему те или иные обстоятельства. Наверное, он не нашел такой девушки в своей среде: такие редки где угодно. Видеть рядом с собой не руководимого человека, не преданного, но идущего за ним патриота, а самостоятельную, гордую своим интеллектом и образованием и в то же время беспредельно верную личность – вот что покорило его сердце.

...После "беседы" с полковником Дротенко мы стали делиться с Паруйром информацией. Я взял тут слово "беседа" в кавычки, потому что это для нас происходила беседа, полковник же вел – допрос! Но всякий допрос, как учил меня старый зэк, мой друг и покровитель, – это допрос двоих. Следователь допрашивает вас, а вы допрашиваете следователя: по его вопросам устанавливаете, что именно ему известно. Айрикян был мастером допросов: не знаю, много ли получали следователи от встреч с ним, но он неизменно приносил немалую информацию. В тот раз Паруйр тоже похвастал недурной добычей.

– Мы Елену Сиротенко поймали с поличным! – грозил полковник Айрикяну. – Напишите ей, чтобы прекратила свои штучки. Она приехала сюда, встретилась с женой цензора и предложила ей деньги за передачу на зону продуктов для вас (полковник всегда называл заключенных по-уставному – на "вы"). Наша сотрудница оказалась честной и сообщила по инстанции. Предупредите Сиротенко, что мы имеем юридическое основание завести на нее дело по обвинению в предложении взятки должностному лицу.

– ...Дурак я, – рассуждал Паруйр вслух при мне, – значит, это Лена на "тройке" сделала... Был там такой случай: во-

шел в цех офицер, встал рядом с моей машинкой и тихо спрашивает: "Айрикян – это ты?" – "Я". – "Тебе привет от Лены". – "Ну?" – "Тебе что-нибудь нужно передать?" – "Мне ничего не нужно". Дурак, дурак! Не поверил, решил, что провокация, что ловят меня. Откуда в Мордовии появится Лена?! Он спрашивает: "Продукты принести? Деньги?" – "Ничего не надо". Выходит, она, правда, здесь была... Сначала на "тройке" пробовала, а потом сюда приехала...

* * *

К моменту нашей встречи Паруйр был опытным зэком, полностью отбывшим один срок и уже "распечатавшим" второй. При всей внешней открытости и доброжелательности он, как я понимаю теперь, помнил постоянно: в лагере следствие продолжается. Где-то возле него, помимо откровенного опекуна Ломакина, работавшего на капитана МВД и игравшего скорее отвлекающую роль, должен находиться главный информатор КГБ, скрытый агент-провокатор. Зачем Айрикяна перевели в "малую зону", где трудно найти компанию, свободную от наблюдения? Кто тот человек, которому поручено "высветить" Айрикяна? Может быть, этот еврей Хейфец, в зонах никому не известный, попавший без "подельников", то есть без товарищей, от которых можно узнать, как он вел себя на воле и на следствии? Я в своей наивной восторженности не замечал тогда сложности наших отношений, не понимал, что Паруйр постоянно искал того человека, которому за него платят деньги.

Здесь, видимо, подходящее место, чтоб сообщить моим читателям некоторые сведения о том, как я получил возможность изучать жизнь Паруйра Айрикяна в лагере.

По профессии я литератор, писавший в жанре исторической беллетристики. В 1973 году мой друг, ленинградский писатель Владимир Марамзин подготовил к "самиздатскому изданию" пятитомное собрание сочинений нашего общего знакомого, поэта Иосифа Бродского, незадолго до того вы-

сланного за пределы СССР. Марамзин, большой почитатель поэта, собрал у друзей, родственников и знакомых его рукописи (в СССР Бродский практически не печатался) и решил сделать из них собрание сочинений. Как раз в эти месяцы я стал пробовать себя в новом жанре, в литературной критике, и Марамзин, составитель и редактор издания, попросил меня написать к пятитомнику предисловие. Впервые в жизни ощутив возможность писать совершенно свободно, я высказал в предисловии все, что я думал как о суде над Бродским по обвинению поэта в "тунеядстве", так особенно по поводу оккупации Чехословакии советскими войсками. Прочитав мое предисловие, заказчик (Марамзин) разумно решил, что такая статья мгновенно подведет "под Мордовию" и его, и всех остальных, кто принимал участие в "культурном начинании", как он выразился. Я с ним согласился, пробовал переделать статью, но безуспешно, а потом узнал, что Марамзин заказал предисловие другому автору (И.Бурихину), сумевшему его удовлетворить. Тогда я положил свою статью в то отделение письменного стола, где лежал накапливавшийся годами писательский архив и... забыл о ней.

Я-то забыл, но не забыло ленинградское управление КГБ. Когда я хотел переработать статью, то посоветовался с несколькими знакомыми литераторами, *что* именно следует с ней сделать, и среди них оказался мой сосед по дому, ленинградский литератор Валерий Воскобойников. Он передал мой текст в КГБ, но не сумел узнать, что статья забракована и положена в архив. Управление, выждав полгода (по их расчетам, я за это время должен был статью передать для опубликования), явилось ко мне с обыском. После ареста следователи довольно скоро выяснили, что нарушения закона, даже советского, не произошло: криминальная статья была забракована самим автором и редактором, показывалась посторонним людям не с целью "пропаганды", но наоборот – чтобы ее, как выразился следователь, "деполитизировать", то есть очистить от криминальных мест.

Словом, дело началось не столько на мою голову, сколько на голову следственного отдела. Поэтому всех, кого не успели арестовать, например, одного из читателей, профессора Эткинда, или автора второй статьи о Бродском, аспиранта И.Бурихина, гебисты решили просто выкинуть из СССР, то есть обошлись с ними, с их точки зрения, гуманно. Марамзин, который согласился публично признать свою мнимую "вину", был за такую "помощь" следствию вознагражден условным сроком и тоже "выброшен" в Париж. Я же, по гебистскому правилу: "Арестован – значит, осужден" – получил сравнительно небольшое, но, признаюсь, для меня очень приличное вознаграждение, особенно в то время: четыре года лагерей и два года ссылки, всего шесть лет, после чего тоже был выдворен – в Израиль.

Всеми этими сведениями я загромождаю память читателей, чтобы они поняли: я вовсе не был борцом с советской властью, ни подпольным, ни правозащитником, ни сионистом, – увы и к сожалению, я оказался просто жертвой ошибки гебистских оперативников, поэтому совершенно одиноким в зонах: мои "подельники" и "свидетели" один за другим перебирались по приказу начальства в Париж. Естественно, что Айрикян поначалу недоверчиво присматривался ко мне...

Хорошо помню тот день, когда Паруйр начал доверять мне безусловно.

Пришли мы с работы; неожиданно Айрикяна вызвали на вахту. Что такое? Свидание. Приехали к Паруйру родители и сестра. Из Армении, за три тысячи километров, с четырьмя пересадками (самолет, два поезда, автобус), чтобы встретиться – на два часа. Если не запретят...

К счастью, в тот раз не запретили.

Свидание товарища – большое событие в зоне: какие новости придут из-за проволоки, те, про которые не сообщают газеты, новости западного радио? Какие слухи ходят на воле о возможных переменах в стране и в нашей участи?

Но вот возвратился Паруйр через два часа – расстроен-

ный. Нет у него для нас новостей. Родители – это родители, им не до политики, они хотят за эти два часа сына накормить (капитан Зиненко разрешил), передать ему хоть два-три килограмма продуктов в зону (капитан не разрешил); хотят посмотреть, как сынок выглядит, и рассказать ему самые важные новости: кто из родственников женился, кто развелся, у кого кто родился и сколько зубов прорезалось у внука... Не политики наши родители, что с ними делать! "Что от них ждать!" – огорчались мы вместе с Паруйром: они, оказывается, даже западное радио не слушают!*

Расстроен Айрикян был все-таки не этим: родители рассказывали, что с ними из Москвы приехала в Мордовию Лена, но ее не пустили на свидание. "Ходила вокруг забора зоны, все надеялась хоть случайно увидеть меня..." Паруйр стал просить пропустить на свидание невесту: "Ведь это краткосрочное свидание. Разрешается пропускать любого, не только родственников". – "Сиротенко может оказать на вас, Айрикян, дурное влияние. Мы воспитываем заключенных, и нам разрешено не пускать на свидания тех, кто вреден для их перевоспитания". Так и бродила Лена вокруг лагеря, ни единой секунды не повидав любимого...

Оторвавшись от группы зэков, Паруйр неожиданно кивнул мне: "Пошли на круг". Товарищи деликатно оставили нас вдвоем. Паруйр – тихо: "Когда мы прощались и сестра уже не боялась, что их могут лишить свидания, она на выходе сказала: Лена передает привет Хейфецу. Ну вот, я передал".

По-моему, он предполагал, что в этом привете заложен некий скрытый смысл, условный знак. На самом деле,

---

*Только через полгода узнал Паруйр, что его не забывают в мире. Прибыл с этапом старый друг Паруйра еще по "третьей зоне", украинский поэт Василь Стус. Этапировали его вместе с ворами, с бытовиками, которые сумели протащить в зону приемник. "Кто это у вас Айрикян? – спрашивали. – О нем часто "Голоса" передают, "Свобода"...

ничего подобного не было. Но с этого дня отношение Паруйра ко мне изменилось заметно: я стал своим. По-моему, он решил, что, рассказывая о своем деле, я продолжаю "гнать" версию, сочиненную для гебистов на следствии, а на самом деле я принадлежу к кругу демократов-сахаровцев. "Жертва КГБ" – это, мол, для публики, чтобы не зацепили товарищей, а на деле Хейфец был в контакте с кем?.. Не знаю. Увы, если бы он был прав! Но короткий привет от Лены превратил меня в его друга, создал между нами поле единомыслия и близости. Так возникла эта дружба, радость и гордость лагерных лет моей жизни.

УЧУСЬ У АЙРИКЯНА

Общение с Паруйром Айрикяном сыграло громадную роль в изменении моей жизненной позиции. Да и профессионально, как историк, я многому научился, общаясь с одним из тех людей, которые историю делают.

Я – по натуре созерцатель, человек, оценивающий совершающиеся на моих глазах события, выносящий им приговор, но не склонный эти события организовывать и осуществлять их. В качестве участника я обычно – объект воздействия и исполнитель. Кроме того, по основам мировоззрения я человек западный. Паруйр же прирожденный политик и организатор и, кроме того, человек восточный. Понятно, как мне интересно было наблюдать за ним, когда у такого человека я добился полной откровенности сотоварища и соучастника в общей борьбе.

Разница между современным западным и современным незападным человеком заключается, по-моему, в понимании проблемы права. Для человека Запада право есть некий свод правил общественного поведения, обязательный для всех людей, независимо, нравится им данный субъект или нет, относится он к "своим" или "чужим". Право связывает всех – и хранителей его, и правонарушителей, которые, преступая право, знают, что они – преступники, то есть самую справедливость права в качестве всеобщей нормы все-таки и преступники признают. Незападный же человек проводит четкую грань между правом в отношении "своих" и "чужих". Западный человек склонен именовать такое понимание права "готтентотским" и формулировать его так: "Я тебя ем – это хорошо, ты меня ешь – это плохо".

Общение в лагерях с незападными людьми, в том числе с Паруйром, позволило мне лучше понять психологию таких людей и логику их поведения. Конечно, для европейца она выглядит устаревшей. Но европейцу стоит помнить, что всего два века назад в оплоте тогдашнего правосознания, в парламентарной Англии, господствовал тот же восточный принцип права, и одни нормы прилагались к людям своего клана и совсем иные – к людям чужих кланов: достаточно почитать английскую, особенно англо-шотландскую литературу (Вальтера Скотта, Стивенсона и т. д.). Если судить по американской литературе, то в США подобные нормы права установились и вовсе недавно. Оставаться джентльменом в обществе дикарей благородно, но, возможно, непрактично. В сборнике еврейской премудрости – Талмуде – есть такая притча. Шли двое по дороге, благородный человек и жулик, и нашли кошелек с деньгами. Стали делить находку и поссорились. Пошли к судье. "Кто нашел кошелек?" – спросил судья. "Мы вместе", – сказал правду благородный человек. "Я", – ответил жулик. "Будем делить так, – вынес решение судья, – об одной половине у нас спора нет: оба признают, что, по крайней мере, эта половина должна принадлежать тебе, – обратился он к жулику. – Она твоя. А насчет второй половины есть спор. Поэтому ее-то мы и разделим поровну". Жулику, следовательно, досталось три четверти находки. Комментатор этого места Талмуда так объясняет решение судьи: судья хотел показать благородному человеку, что джентльменом быть хорошо, но простофилей плохо. Всегда смотри, с кем ты деликатничаешь и заслуживает ли он доброго отношения. Вот типичная незападная мудрость: она вовсе не отрицает ни благородства, ни верности – к своим, к тем, кто ее заслуживает, – но проводит поучительную грань между общением джентльменов между собой и общением их с жуликами.

Конечно, незападное отношение к праву кажется его обладателям "естественным", "человечным", в противовес "формальному" западному. Нужен опыт, который нация

приобретает веками, причем, опыт свой, потому что чужой, книжный опыт опять-таки кажется "формальным", "бесчеловечным" и проч., в итоге которого общество осознает, что отношение к подлецу и жулику, "как они того заслуживают", – вещь чрезвычайно опасная. Они всегда сильнее джентльменов в своих уловках и аморальности и неизбежно втягивают "благородную" сторону в собственную грязь и подлость. Охнуть не успеешь, как из уважающей себя нации или личности станешь удачливым проходимцем или погромщиком – и только удивляешься: "Как дошел до жизни такой!". Вот почему более "естествен" как раз западный принцип: проложить между собой и склонностью общаться с подлецом подлым же образом границу права, ее же не переступать, как бы ни казалось справедливо и соблазнительно переступить. Это трудно понять, пока сам народ не приобрел достаточный опыт в истории.

Все эти рассуждения о праве понадобились мне, чтобы показать, какая психологическая разница существовала между мной и Паруйром. Я человек западный, Паруйр же только недавно встал на путь правозащитника, он был едва ли не первым правозащитником в Армении, и в его психологии и реакциях я с интересом изучал переход от одной ступени развития к новой, западной.

* * *

Вот любопытный пример.

Где-то я прочел (кажется, в мемуарах начальника германской разведки фон Шелленберга), что незадолго перед концом Гитлер, чье мировоззрение всецело строилось на принципе верховенства немецкого народа в мире, чья политическая жизнь строилась на воплощении этого принципа, этот Гитлер сказал примерно так: "Если германский народ не может вырвать у врага победу, он будет истреблен. Немцы заслуживают гибель, если уступят другому, более силь-

ному народу. Конец Германии будет ужасен, и германский народ его заслужил вполне".

– Вот тебе и националист! – возмущался я. – Если нет меня, единственного и неповторимого вождя народа, так и сам народ уже не нужен. Умираю я – пусть умрет мой народ. Такая любовь к своей общине хуже любой ненависти.

Запомнилось задумчивое лицо Паруйра в момент ответа, его медленные, непривычно вяло текущие фразы:

– Не знаю... У меня тоже иногда было... Если армянский народ согласен жить в рабстве... если ему не нужна независимость... кому нужен такой народ. Пусть даже погибнет – не жалко... Появлялись такие мысли.

...Впоследствии не раз наблюдал этот феномен в лагере у националистов. Борцы за национальное дело любили не живой, реальный народ, иногда слабый, иногда корыстный, часто склонный к позорным компромиссам, а часто наоборот – бескомпромиссно злобный и жестокий, но – *идею* этого народа, воплотившуюся для них в страницах истории, отобранных и зафиксированных историками и писателями. Националисты, опираясь на вычитанные ими схемы, пробуют заставить народ жить по "принципам", а он часто упирается, потому что – живой, и, кстати, его слабости и падения иногда есть инстинктивное стремление живого выжить любой ценой, ибо в сознании нации всегда хранится стремление уцелеть в перипетиях исторического развития. Конечно, цель нации угадана идеологами верно: свободная жизнь на суверенной земле – но идеологи приходят и уходят, а народ лишь постепенно, иногда в вековом процессе, окажется на дороге, отмеченной для него кровавыми вехами жертв националистов. Националисты гибнут, иногда проклиная равнодушие массы, но на самом деле их жизнь, борьба и гибель служат народу маяками – только путь нации измеряется другими временными единицами, чем жизнь человека.

Айрикян необычен тем, что начал об этом догадываться.

* * *

Интересен был для меня Паруйр и в функции прирожденного, "харизматического" вожака.

Для армян он был безусловным вождем, несмотря на свою молодость: и сам себя осознавал таким, и все в зонах безусловно признавали его первенство. (Тогда я еще не знал, что оно было организационно оформлено, голосованием лидеров организаций НОП – об этом ниже.)

Любопытно, что в общении с нами, неармянами, его лидерство определялось только его постоянной готовностью принять на себя первый удар в конфликтах с начальством. Никогда он не пробовал навязывать, например мне, своих решений, хотя мы много раз участвовали в совместных акциях протеста... Зато для армян каждое его слово звучало приказом, да и он только так это воспринимал: невыполнение, или хотя бы неточное выполнение вызывало гнев Айрикяна.

При этом, по моему наблюдению, он вовсе не властолюбив по характеру. Вот любопытный штрих. Однажды два молодых человека, оба прирожденные лидеры среди своих, Айрикян и украинец Попадюк, начали мечтать о будущем: "что со мной станет после победы нашего дела". Попадюк сказал, что начисто бросит общественную деятельность и пойдет пешком – путешествовать, мир повидать по городам и странам. "Ну а ты, Паруйр, – пошутил я, – станешь президентом независимой Армении". "Горе моему народу, – охнул Паруйр, – если он не найдет президента получше меня. А если говорить серьезно, то... Ну, вот захочет армянский народ вознаградить меня за мою борьбу и после победы спросит: "Паруйр, чего ты хочешь?". Я отвечу: "Хочу быть полковником танковых войск".

Мне потому запомнился этот разговор, что я подумал: "Господи, какие они еще мальчики, эти особо опасные государственные преступники Советского Союза!". Так что

властолюбцем по натуре Айрикян не казался, но он ощущал себя вождем по праву.

Как возникает явление вождя? – вот что занимало меня, когда я наблюдал Айрикяна, а потом, в другой зоне, его "бойцов" – активистов НОП.

Несколько мыслей, которые пришли тогда в голову.

Почти все цивилизованные народы (тем более нецивилизованные) прошли в своем развитии "вождистскую стадию", причем она сохранялась у них и относительно недавно. Немцы и русские, испанцы и турки, сербы и индийцы – у всех у них вожди господствовали еще в середине двадцатого века.

Зачем нужен вождь? Я наблюдал за ситуацией – по микромоделей, по отношениям Айрикяна и его людей.

Несомненно, вожак связан и вдохновляется глубинными чувствами масс. Но нужен он им не для наступления, не для рывка, не для атаки как думалось мне раньше. Наоборот. Масса обычно охвачена слепыми страстями. У нее не хватает не боевого пыла, а как раз наоборот – гибкости, способности принять правильное *прагматическое* решение. Человек, способный только вести ее в бой, не станет вождем, – по терминологии ноповцев он будет лишь "офицером". В эпоху, когда нация еще не созрела политически для принятия, как сейчас выражаются, судьбоносных решений, она, видимо, инстинктивно избирает человека, связанного с ней невидимыми духовными нитями, но способного командовать не только "вперед", что нетрудно и популярно, но и "назад", что в слепой толпе связано с вечными подозрениями в "предательстве", что возможно лишь для лидера, чье господствующее положение выглядит неоспоримым даже среди самых пылких "патриотов". Например, "отдать пространство, чтобы выиграть время", – как поступил некогда и, выиграв, стал единственным повелителем России один из таких харизматических вождей – В.И.Ленин.

Паруйр Айрикян сыграл, по-моему, важнейшую роль в истории армянского сопротивления (оговариваюсь – су-

жу со стороны, поэтому, возможно, ошибаюсь или переоцениваю), внеся в него новые элементы – правозащитные элементы демократии в национальной борьбе. Сама идея референдума – глубоко демократична. Конечно, Паруйр и его товарищи потому настаивают на всенародном опросе, что были абсолютно уверены в победе своей партии – это правда. Но правда и в том, что они чувствовали: народ уже созрел для общественного обсуждения и общественного суждения по жизненным вопросам.

Потому и не строились лидером честолюбивые планы на "после референдума". Хотя сама демократическая идея – в этом парадокс истории – возникает под влиянием авторитетного вожака, но лишь тогда, когда и он, и лучшие представители нации ощущают: народ созрел для того, чтобы *сам* принимал решение. После референдума он сам должен определить свою судьбу – в этом и смысл независимого существования. А как же Паруйр Айрикян? Будет служить ему в танковых войсках...

* * *

Напоминаю, что на воле я не был борцом с советским режимом – возможно, в силу темперамента созерцателя. Борцом же я стал в зоне, и начало положил Паруйр Айрикян.

Прошло несколько месяцев со дня нашего знакомства, он подошел и попросил, чтобы мы, друзья по зоне, поддержали его акцию протеста: голодовку 11 августа 1975 года с требованием амнистии для членов НОП, легализации Национальной Объединенной партии и проведения референдума по вопросу о независимости.

Незадолго до этого ленинградские гебисты начали со мной игру под названием "помиловка". Мою мать и жену вызвали в КГБ, где пообещали сокращение срока втрое (два года вместо шести) в обмен на подачу прошения о помиловании. Объективно должен признать, что если они хоте-

ли получить у меня такую бумажку, им не следовало этапировать меня в зону: в компании борцов типа Айрикяна или Попадюка у жертвы всегда возникает желание попробовать стать борцом. Поэтому предложение Айрикяна провести вместе с ним голодовку в защиту армянских политзаключенных пришло как раз вовремя. Это мог быть для меня самый четкий ответ на гебистское предложение.

– Почему одиннадцатого августа?

Паруйр объяснил: то была какая-то национальная дата, я забыл точно, какая именно.

– Сколько дней продлится голодовка?

– Я голодую трое суток, но для товарищей достаточно одного дня.

– Паруйр, я согласен и буду голодовать два дня, но начну не одиннадцатого, а двенадцатого, и голодую с тобой до конца.

– Почему?

– Двенадцатого августа – день рождения моей младшей дочки. Сделать ей подарок я не могу. Пусть первая в жизни акция протеста будет моим подарком.

Перед таким аргументом Паруйр не мог устоять. Немного был разочарован, что я начну не одиннадцатого августа... "В этот день армяне на всех зонах и ссылках проведут акцию!" – предупредил меня.

...Наверное, гебисты растерялись, каким образом человек, заточенный в семнадцатую зону Мордовии, сумел организовать единое действие всех членов НОП, разбросанных за тысячи километров друг от друга. Теперь, видимо, уже можно рассказать, как он совершил эту удивительную акцию.

Она была задумана и подготовлена намного раньше – еще в следственном изоляторе ереванского УКГБ.

...Надо признать, что армянские гебисты в общем представляли себе масштаб личности Айрикяна и пытались обезвредить его не только надзором. Еще Размик Зограбян, до прибытия Паруйра на зону, рассказывал мне, что их вожаку предложили после отбытия срока поступить в институт:

авось, учеба, потом работа и семья поглотят энергию молодого человека. Математика, физика, техника способны конкурировать с политической борьбой и нейтрализовать ее в душе человека. Айрикян ответил им: "Зачем Армении еще один инженер? Патриоты для нее важнее".

Он устроился на какую-то мнимую работу, которая почти не оплачивалась, но зато давала штамп в паспорте и освобождение от обвинения в "тунеядстве". Сразу, будто под бой барабана, ожила подпольная НОП, притаившаяся на четыре года. Возникали связи, иногда самые неожиданные, в самых важных слоях общества, укреплялись отряды новыми бойцами, и, главное, потоком распространялась по республике литература: листовки, брошюры, отпечатанные на собственных станках. Пиком дерзости явилось сожжение двумя ноповцами, одним из которых оказался Размик Зограбян, громадного портрета Ленина в центре Еревана, как раз напротив гостиницы "Интурист" – то есть гостиницы для иностранцев. Паруйр не раз показывал мне открытку с видом Еревана, объясняя с явным удовольствием, где и как происходило дело.

Москва решила подтянуть удила своевольному армянскому коню в имперской упряжке. Началось с репрессий против "своих", которые "распустили и допустили". Это традиционная тактика: "Бей своих, чтобы чужие боялись!". Во главе Армении находился тогда один из искуснейших аппаратчиков КПСС – некто Кочинян. По всему СССР ходили сплетни, и даже до далекого Ленинграда докатывалось, как умело Кочинян поил генерального секретаря ЦК КПСС Л.Брежнева, когда "хозяин" пожаловал в гости к ереванскому гаулейтеру. Смеялись, что он упоил генсека до такого мертвецкого состояния, что тот свалился без сознания по дороге в местную академию наук, и выстроенные по ранжиру ученые долго и нудно ожидали гостя, пока их не распустили в тоске и тревоге. Еще сплетничали, что громадный черный камень в перстне, который сверкал на пальце генсека, когда он ездил на Кубу и обнимал Фиделя Кастро (этот ка-

мень привлек тогда всеобщее внимание телезрителей), – был подарен Брежневу Кочиняном: якобы это черный алмаз из короны армянских царей, вывезенный за границу, выкупленный там богатыми армянами и отправленный ими на родину. Кочинян якобы поднес его в дар Брежневу и получил за это громадные кредиты на строительство в республике (в том числе строительство атомной электростанции), ну и, разумеется, благоволение "хозяина". Не знаю, что тут правда, что нет, алмаз, правда, видел своими глазами. Но знаю, что никакие дары, если они и были, не спасли Кочиняна от гнева Москвы, когда начались ноповские акции. Проштрафившийся губернатор был смещен указом метрополии. "Айрикян, Айрикян, где теперь Кочинян?" – шутили в зоне. Довольный Паруйр скромно возражал, что история в рифму не делается, и надо спрашивать: "НОП, НОП, где теперь Кочинян?". Как бы там ни было, сменилось и партийное, и гебистское руководство в Армении, и перед новыми шефами несомненно была поставлена задача: обезвредить армянское сопротивление – иначе... Живой пример находился на пенсии перед глазами.

Никаких улик против Айрикяна у гебистов не имелось – человек, прошедший мордовскую политшколу, обычно умеет успешно работать против КГБ. Но слишком ясен был оперативному отделу масштаб этой личности, чтобы оставлять его на воле. По мнению Паруйра, особенно встревожил их визит в Москву и встреча с Леной. "Может, если б не поехал в Москву, не взяли бы. Совсем ничего против меня не имелось", – рассказывал Айрикян. В этом я сомневаюсь: нашли бы другой предлог. Но факт, что поездка в Москву дала им формальный повод арестовать его за "нарушение режима надзора". Это сравнительно легкое обвинение грозило ему и сравнительно легким наказанием – до трех лет заключения.

Если б он сидел тихо, возможно, дело завершилось бы таким приговором. В конце концов, подозрения оперотдела к делу не пришьешь, и даже санкции у руководства следует

выпрашивать с более вескими доводами, чем "внутреннее чутье" сотрудников. Но Айрикян, сидевший под следствием тихо, – это был бы не Айрикян.

В следизоляторе одновременно с ним сидело множество ноповцев. "Настроение у всех было очень тяжелое, – признавался мне через год Азат Аршакян, командир подразделения НОП, один из самых отважных и мужественных людей, каких я встречал в своей жизни. – Никто не понимал, что будем делать дальше, как надо жить. Появился Айрикян, и вся тюрьма встала на уши! Все распрямились, дела закрутились – мы снова стали не заключенные, а борцы".

Представляю, с каким страхом и растерянностью наблюдали в КГБ за "нарушителем надзора". Вооруженный тюремным опытом, хваткой и поразительным личным обаянием, вызывавшим доверие у каждого армянина, он завербовал в помощники НОП почти всех надзирателей следственного изолятора: они стали почтальонами армянских патриотов. Из камеры в камеру каждый день шли записки, согласовывались даты акций протеста (думаю, что и детали показаний тоже, но об этом Айрикян мне не рассказывал). В конце концов начальство поменяло весь состав надзирателей, привезли резервы из России, но, как я понял из намеков Паруйра, это мало помогло. Следователи бесились, наблюдая, как изолированные в тюремные клетки, теоретически отделенные друг от друга наглухо, ноповцы дружно разыгрывали симфонию протеста под палочку своего дирижера. А кто был дирижер – не так уж трудно было установить, проглядев даты прибытия арестантов в изолятор.

...Я мог бы, конечно, кое-что написать о технике внутритюремной связи, но делать это преждевременно: армянским патриотам еще предстоит немало сидеть в тюрьмах ГБ, и конспиративные секреты, разработанные Айрикяном, смогут им пригодиться.

До этого места рукописи я только хвалил Паруйра. Но объективности ради следует признать: у него имелись немалые недостатки, бывшие, как обычно случается, продолже-

нием его достоинств. Один из них, по моей, конечно, оценке, – неразумный риск, страсть к игре во что бы то ни стало. Гебисты знают эту слабость и умело ею пользуются. Например, они́ любят посылать его на этапы: знают, что Паруйр стремится найти любую щель в стене тюрьмы, чтобы послать через нее информацию, инструкцию, просто письмо. Ему подбрасывают на этапе, где люди неизвестны и проверить их трудно, провокаторов, которые берутся передать информацию на волю, а передают ее "кому следует". Паруйр понимал эту игру и все же постоянно рисковал снова и снова: рисковал сознательно. Мы с ним спорили, и он так объяснял свою позицию: "Предположим, я рискую десять раз. Половина случаев – подсадки КГБ. Я проиграл. Значит, в пяти случаях я выиграл. Значит, я выиграл все! Потому что, если бы я не рисковал, вообще ничего бы не вышло на волю. А так – ну что я проигрываю? Они перехватили мои письма? Да я им в открытую пишу то же самое. Меня накажут? – такое презрение к "наказанию" прозвучало в голосе Айрикяна, что я замолчал. Но он не убедил меня. Ведь он рисковал не только собой, но и адресатом. Ответственность за чужую судьбу меня бы сковала, пожалуй, сильнее, чем страх за свою. Но это отнюдь не мое достоинство – просто я никогда не был членом организации, связанной взаимным долгом. (Тем более лидером.) Паруйр же явно полагал, что раз он сам рискует больше всех, то имеет моральное право требовать аналогичного риска от любого члена НОП.

В тот раз, в тюрьме ереванского КГБ, новобранцы рискнули и... провалили товарища на воле. Впрочем, сам Айрикян признавал легкомыслие "братства во узилище": "Так нам везло, что обнаглели. Думаю, все надзиратели относили в город наши письма и никто не продал, и когда появился новенький, мы ему без проверки, просто предложили: "Отнеси-ка письмо к..." – тут он назвал имя одного из членов НОП. – А новенький отнес письмо начальству и потом сказал, что у него комсомольская совесть".

Естественно, по указанному в послании адресу пришли с обыском, последовал арест, следствие, суд. На суде этот проваленный товарищами парень лавировал: не раскаялся, никого не выдал, но вел себя не в соответствии с приказом по организации – не провозгласил себя открыто ее членом, не защищал задач НОП перед судом, не пропагандировал независимость Армении перед публикой. "Член НОП сидит – значит, он борется за свободу Армении, – этот тезис я слышал еще в первые лагерные дни от Размика Зограбяна, только не знал, что он повторяет партийную инструкцию, сочиненную, несомненно, Паруйром, – сидеть – значит поднимать на борьбу тех, кто остался в Армении. Если народу полезно, чтобы Зограбян сидел, я буду сидеть". Так вот, проваленный в Ереване парень, видимо, обидевшись на неосторожность друзей, посчитал вправе держаться на суде "нейтрально" – не побивая себя в грудь, но и не "выступая", говоря по-лагерному, "не качая права". На общем фоне восемнадцати процессов НОП это так приятно поразило прокурора, что он запросил для обвиняемого относительно ничтожный срок – три года. Но надо было слышать, с каким неуважением и почти детским изумлением перед таким "ренегатством" отзывался о нем Айрикян!

В его понимании товарищ не имел право на индивидуальное поведение перед судом, на обиды, на счеты со своими, на личный маневр в принципиальном вопросе: "Он дал клятву НОП". А поведение ноповца на следствии и суде, по мнению Паруйра, определялось решением организации и обсуждению в тюремной камере не подлежало...

Паруйр сильно гордился, что, за исключением этого процесса, на всех остальных семнадцати процессах над членами НОП, которые прошли в середине семидесятых годов, подсудимые проповедовали в зале суда идею независимости Армении. "Они знали: им стоит промолчать, и срок сократится вдвое, но они вели себя так, как требовала партия. Такого результата СССР никогда не знал: армяне создали самую дисциплинированную и сильную организацию в стране".

Паруйр отнюдь не скрывал, что кульминационным пунктом в серии процессов НОП оказался именно суд над Айрикяном.

Если память не подводит, он длился больше трех недель – беспрецедентный срок в истории политических процессов в СССР: даже "Большие шарады" 37 – 38 годов кончались скорее, а ведь там судили министров и бывших членов Политбюро правящей партии.

КГБ и подчиненная ему прокуратура предъявляла ему обвинение по статье "антисоветская агитация и пропаганда, часть вторая (рецидив)", грозившей заключением и ссылкой до 15 лет! Это вместо трехлетнего срока, предъявленного поначалу... Со своей стороны они были логичны, желая упрятать его подальше, но беда управления ГБ заключалась в том, что против обвиняемого практически не имелось никаких улик. Информаторов в НОП не оказалось, и Паруйр работал достаточно профессионально, чтобы не оставить добычи на обыске. По моей оценке, у них не имелось даже оперативных данных, того запаса доносов, магнитофонных лент с записями подслушанных телефонных разговоров и прочего, что суду никогда не предъявляется, но на деле в сомнительных случаях судьям это имущество показывают за закрытыми дверями. Но даже этого, необходимого в работе минимума не имелось против Айрикяна.

Мое суждение основано на том, что они выставили против него улики, которые "комитетчики" никогда не предъявили бы, будь у них хоть что-то на руках, хоть ничтожные козыри. Например, едва ли не самым веским криминалом на процессе служили письма Паруйра, отправленные им... из мордовского лагеря.

Разберу этот казус, потому что уж очень выразительно в нем отпечатались затруднения и топорная работа следователей АрмУКГБ.

Отбывая первый срок, Паруйр нашел "лаз" на волю через кого-то из надзирателей и отправил на волю несколько писем, как он выразился, "национального содержания". "Ка-

нал" почему-то струсил или просто обманул Айрикяна: получил запрошенную плату и решил увернуться от выполнения рискованного поручения – короче, мент выбросил письма молодого армянина в снег возле зоны. Весной, когда началось таяние, кто-то их нашел, а так как все жители окрестных поселков служат в МВД, отнес письма начальству. Гебисты приобщили их к делу и через два года решили предъявить в качестве криминала. Но объяснить суду, как они попали в руки следствия, не захотели. Почему – можно догадываться: во-первых, не хотели публично на суде признавать, что и в стенках лагерей существуют дыры, во-вторых, опасались, конечно, возражений Айрикяна, якобы письма – черновики, которые он никому не показывал, сам забраковал и выкинул в снег: тогда суд не мог посчитать их обвинительной уликой (документы, не показанные никому, не считаются уликой в делах по пропаганде). И вот какой-то мудрец из следотдела сочинил для суда версию, якобы Айрикян отправил эти письма по почте, и они были задержаны цензором. Надо было совсем не понимать натуры Айрикяна, чтобы не сообразить: он сразу заявил, что действовал по закону, предъявил, мол, написанное в цензуру, так как заключенный имеет право писать, что хочет, а вот позволено это написанное кому-то читать, – это решает цензор. Раз цензор письма изъял, значит, их никто "неположенный" не прочитал, следовательно, "пропаганда" и *не могла* совершиться. А цензор? Простите, но это его служебная обязанность – читать *все*, любую крамолу, так гласит инструкция!

День за днем Айрикян опровергал факты обвинительного заключения. Читатель видит, что я вовсе не пытаюсь его убедить, что якобы Паруйр говорил суду правду и якобы он совсем не был виноват с точки зрения советского закона. Это было бы лицемерием с моей стороны. Гебистами двигало совершенно справедливое убеждение, что все важное в Национальной Объединенной партии Армении, любое ее действие в теории и в практике – все, в конечном итоге, приводит к Айрикяну. Они верно думали. Беда же их заклю-

чалась в том, что доказывать это правильное предположение в публичном состязании, да еще с таким опытным и талантливым полемистом, как Айрикян, оказалось им не под силу.

Чтобы читатель лучше представил тактическую ловкость этого человека, расскажу еще один эпизод, известный мне не от самого Паруйра, а от одного из ноповцев.

Паруйра с группой патриотов везли в автозаке из тюрьмы в здание Верховного суда Армении. Машина внезапно затормозила, и Айрикян, чтобы не упасть, схватился руками за железные прутья решетки и нечаянно задел конвоира. Тот, я думаю, от испуга, ударил заключенного прикладом автомата. Паруйр сдержался, но его юные соратники, увидев это, взбесились. "Фашисты! Фашисты!" – скандировали они конвою. По-моему, они все там немного потеряли голову от нервного напряжения: лейтенант, начальник конвоя, вдруг остановил автозак в пустынном месте и приказал: "Всем выйти!". Выбрались. "Построиться!" Построились. На них навели автоматы. "Сейчас всех на месте расстреляю – за попытку к бегству! Ну-ка, повторите, кто мы такие?!" Паруйр вышел из строя и примирительно сказал: "Слушай, чего ты нервничаешь? Ты не фашист. Ты – коммунист". Тот задумался. Пришел в себя. Отвез всех в суд, и больше его никогда не посылали с караулом.

В суде установилась атмосфера особая, непривычная для нормального советского суда по политическим делам. Конечно, судьи Верховного суда – чиновники, члены партии, связанные в своих решениях указаниями партии. Но, помимо этого понятного факта, они – профессионалы (в Верховном суде нет заседателей "из народа", там решают дело только профессиональные юристы). По своей психологии они должны быть внимательны к деталям, к обоснованиям эпизодов, к логике обвинения, к основательности улик. Беспомощность обвинения не могла их не раздражать, не политически, упаси Бог, а чисто профессионально. Когда взамен улик у прокурора одно "внутреннее убеждение" – это и советскому судье вынести нелегко. Нет обвинения в действи-

ях, и даже крамольные взгляды обвиняемого не выглядят такими уж преступными в глазах суда. Он не антикоммунист, не антисоветчик, просто хотел для Армении независимости, патриот, – и за это они должны отправить молодого парня в Мордовию или на Урал на 15 лет, как этого требует прокурор. Было над чем думать судьям! Потому и тянулся процесс столько времени!

Свидетельницей на процесс вызвали Лену Сиротенко. Впоследствии жена рассказала мне: "В самиздате сейчас самый модный документ – показания Сиротенко по делу Айрикяна. Это как инструкция: "Как лучше всего отвечать на вопросы суда по политическому делу".

Вот деталь, запомнившаяся мне из рассказа Паруйра: судья попросил Лену сообщить, сколько стоил ей проезд из Москвы в Ереван и обратно. "Я отказываюсь это сказать суду". "Почему?" – поразился судья: уж в цене-то билета точно не скрывалось ничего криминального. "Потому что мне известно: вы назовете это судебными издержками, предъявите Паруйру иск и заставите его в Мордовии отрабатывать эти деньги. Я приехала сюда как подруга Паруйра, приехала на свои деньги, а не за его счет!" "Вы ошибаетесь, – возразил судья. – Это у вас в Москве так делают. У нас в Армении законы свои. Айрикян не будет платить за ваш приезд сюда".

В этом "у вас в Москве" я ощущаю скрытое превосходство над нравами метрополии и гордость собственными патриархальными обычаями.

Вот как описал Паруйр вынесение ему приговора.

– Гебисты предупредили меня: "Будешь "выступать" на суде – переквалифицируем антисоветскую агитацию и пропаганду на статью по измене родине".

(Напоминаю: юридически "покушение на территориальную целостность СССР" – это один из подпунктов статьи по измене родине, поэтому его не просто "брали на пушку", а предупреждали всерьез, и Паруйр это понимал.)

– ...Я решил все-таки держаться по-нашему и в послед-

нем слове сказал так: граждане судьи! У нашего народа многовековая история. Были миллионы жертв среди армян, но ни разу еще не было в истории, чтобы армяне судили армянина только за патриотизм, за то, что он желает независимости своему народу. Вы—первые армяне в истории, которым предстоит вынести приговор за армянский патриотизм! Пусть вечно живет Армения! Слава героям-борцам!

– Ушли они в совещательную комнату, – продолжал Паруйр, – а я сижу, дожидаюсь. Прокурор требовал мне тринадцать лет: десять лет лагеря и три ссылки. Вышли судьи, смотрю, женщина-судья плачет, слезы катятся, так жалко ее стало, про себя на миг забыл. Смотрю на другого судью – он побелел, постарел за этот час на годы, глаза ввалились, губы запали – жутко смотреть на него. Председатель стал читать приговор – заикается, руки трясутся. Я вдруг сразу понял: это конец. Все. Расстрел.

...С запрошенного прокурором срока они сбавили ему три года. Не мое дело хвалить советский армянский суд, но объективно признаю: они сделали для него все, что суду в Союзе позволено, – пусть даже Верховному суду. Сбавить целых три года с запрошенного прокурором от ГБ срока – это предел, дозволенный милосердию суда. Я и про такой-то предел слышал первый и единственный раз. Рабский, несчастный, жалкий суд перед гордым подсудимым!

Но КГБ не смирился со своим "поражением", а именно так был, несомненно, воспринят смягченный приговор армянского суда!

Пока я писал эти строки, из СССР пришло новое сообщение. За несколько месяцев до окончания семилетнего лагерного срока и этапирования на ссылку против Айрикяна начали новое дело. На этот раз мастера "обвиниловок" не рискнули сочинять политическое дело. Паруйр оказался уголовником-"взяткодателем".

Судя по материалам бюллетеня "Вести из СССР", дело складывалось так. Из Москвы в Пермский лагерь, где в это

время находился Паруйр, пришла посылка от Лены Сиротенко. Конечно, она была адресована не ему, а в поселок, где жил инженер, работавший вольнонаемным специалистом на заводе в промзоне. Он передал посылку заключенному со странным именем Владимир Ильич Свердлов. Работники МВД привлекли к суду всех троих – адресата Жилина и получателя посылки Свердлова, и Айрикяна, который, по их убеждению, был подлинным получателем продуктов от Лены. Обвинение – дача взятки должностному лицу: было установлено, что Жилин взял себе из посылки в виде награды за труд дамские колготки и несколько жевательных резинок. Любопытно, что улик против Айрикяна и на этот раз не имелось: он сам отрицал свою причастность к посылке, а Свердлов не дал против него формальных показаний. *Формально* Айрикян оставался невиновным, жертвой юридического беззакония. Но суд, который главному обвиняемому Жилину (как-никак "взяточник"!), выдал лишь условный срок, Айрикяна, против которого не нашли и на этот раз улик, приговорил ровно к трем годам дополнительного заключения в уголовном лагере – на ту самую сумму срока, которую ему семь лет назад сбавили армяне. КГБ ждал реванша и дождался его.

Что сказать об этом деле? Писать, что Паруйра оклеветали? Но я ведь на самом деле убежден, что фактически суд был прав: посылка предназначалась Айрикяну. Убежден, что Лена пыталась помочь ему как могла, подкормить его, и использовала для этого любые средства. Если надо – то незаконные. Заплатить? Она согласна была заплатить, лишь бы накормили Паруйра. Правда в этом деле послужит моему другу лучше, чем любые юридические выверты.

В советских лагерях худо кормят. Голод, наряду с холодом, – главное орудие воздействия на заключенного. Я – человек немолодой и к пище невзыскательный, но все годы моего лагерного заключения испытывал непрерывное чувство голода. Всегда, каждый день, каждый час с утра до вечера, исключая два дня свидания – раз в году! Насколько

же голод острее чувствуется развивающимися, энергичными молодыми парнями, вроде Айрикяна!

Врачи, сидевшие с нами в зоне (например, ленинградец Михаил Коренблит – ныне преуспевающий израильский стоматолог), подсчитали, что калорийность нашей пищи была изначально ниже той, которая нужна для физически работающих людей. Беда все же заключалась в том, что даже эти *положенные* пайковые калории до заключенных не доходят, особенно в малочисленных политических лагерях. Все наиболее питательное раскрадывается по дороге, и это неизбежно: продуктов же не хватает (как всем советским людям) и самой администрации МВД, и "придуркам", то есть заключенным, пристроившимся на местечки возле кухонь, каптерок и т. д.

Я уже сказал, что голод – главное средство воздействия на узника. Если тюрьма должна быть страшной, пусть она будет голодной – вот логика начальства, и, правду сказать, с их точки зрения, в этом имеется смысл. Родные и близкие, которые хотят накормить своих заключенных, набить им животы на свиданиях, наполнить единственную разрешенную в год пятикилограммовую посылку продуктами покалорийнее, – все они совершают, с точки зрения МВД, общественно-сомнительное действие. Получить продукты должны лишь те, кто "заслужил", а заслужить можно только "исправлением", то есть покорностью. Те же, кто, как Лена Сиротенко, пробуют преодолеть заборы из колючей проволоки и накормить непокорного армянина калорийными продуктами, совершают преступное действие. По своей логике КГБ прав, когда добавляет Айрикяну три года лагерей за то, что он хотел поесть посытнее. По-своему, если говорить совсем правду, там даже гуманны: ведь все одиннадцать лет, что он провел до этого, третьего приговора за проволокой, он хотел есть, он стремился достать продукты, чтобы поесть, и они с Леной наверняка совершали такое же совместное преступление и раньше. Наверное, в прежних отчетах гебисты даже и отмечали отказ от возбуждения ново-

го дела как гуманность: мол, надеялись, что Айрикян все-таки исправится, и потому не судили ни его, ни Сиротенко за попытки доставить в зону продукты – а могли бы! Но когда срок кончался и Паруйр должен был ехать в ссылку, а там, сволочь этакая, мог бы есть без ограничений, потому что Лена из Москвы посылала бы посылки свободно – вот этого они уже вынести не могли. Я не иронизирую: с их точки зрения, они могли терпеть еще три года, пока не истекут годы ссылки, и только потом "принимать новое решение", то есть давать ему новый срок. Так они обычно и поступают. Но сама мысль, что вот он уже кончил лагерь, будет есть теперь сытно – была для них нестерпимой. Тут, видимо, кто-то заглянул в дело и вспомнил: а ведь эти армяшки ему три года скинули на суде! Восстановить первое решение! И технология "правосудия" вступила в действие...

Догадываюсь, что мои рассуждения покажутся неправдоподобными людям, "далеким от практики", как выражался мой следователь в Ленинграде. Я и сам, пока с нею не соприкоснулся, с этой практикой, не поверил бы себе сегодняшнему. Вот, однако, доказательство, что я прав. Ведь обычно МВД не карает судом за попытку передать продукты в лагерь. Десятки случаев наблюдал я в зонах, и любой человек, который хоть раз соприкоснулся с миром ГУЛАГа, это знает. Все, кто в состоянии, пользуются любыми возможностями, чтобы подкормить близких, – это считается всегда *административным* нарушением, за которое карают внутрилагерным наказанием: в карцер посадят, ларька лишат или свидания, а нарушителя с *той* стороны проволоки могут свидания в будущем лишить – не более того. Взятка в размере пары колготок и двух пачек жвачки – этим не затрудняют суд даже в Советском Союзе! Нет, тут, уверен, был реванш за те три года, которые посмели "снять с приговора" в Ереване.

Чтобы закруглить этот сюжет, который и так уже далеко увел меня от жизнеописания Айрикяна в зоне, закончу маленькой новеллой. Один раз Паруйр собрал лагерный

"верх" возле скамейки для курящих и стал с листа переводить нам армянский текст: это были письма из зоны сына генерального секретаря чилийской компартии Луиса Корвалана – из чилийской зоны, разумеется. Мы, разведя руки и выпучив глаза, слушали про футбольное поле в зоне, про свободный труд, который сам себе выбирает заключенный, про сытную еду и неограниченные посылки с воли... Пусть не подумает читатель, что я (да и кто-либо из нас) – любитель правых диктатур. Со всей определенностью заявляю, что я против военных режимов в любой стране мира, против того, чтобы людей сажали в тюрьмы за их взгляды – и демократов, и коммунистов, вроде сына Корвалана. Все, что я хочу сказать здесь, сводится к следующему: когда мы в *благополучной* советской зоне читали о том, какие условия создала чилийская хунта для своих политических противников, – это казалось нам сказкой, и мы не поверили бы ей, если бы Паруйр Айрикян не переводил с листа армянский *советский* текст! Текст, автором которого был убежденный чилийский коммунист.

* * *

Приговор Верховного суда республики считается окончательным и обжалованию не подлежит, поэтому почти сразу после суда Айрикяна этапировали из Армении в Мордовию. Власти торопились отделить его от страны и народа, и этап устроили не обычный, в вагонзаках-"стольшинах", а самолетом – в наручниках и в сопровождении специального конвоя.

– Отлет – самый тяжелый миг в моей жизни, – рассказывал он в зоне. – Когда взлетаешь с ереванского аэродрома, самолет делает круг в сторону Турции, иначе не пролететь, и оттуда Арарат кажется совсем рядом. Я смотрел на Арарат, уходящий вдаль, к горизонту, и казалось, что вместе с ним уходит жизнь. Никогда не вернусь в Армению, не увижу родину. Наверное, когда люди чувствуют, что

пришла к ним смерть, с ними происходит такое, как со мной тогда...

Только в эту секунду я осознал, что значит для армян – Арарат. Арарат, который находится по другую сторону границы Армении.

КАК АЙРИКЯН ПОПАЛ В ПКТ

Паруйр знал, что ожидает его впереди, и уже в следственном изоляторе стал готовить акции протеста НОП в будущих зонах. Были намечены даты, установлены цели, формы акций, проходили после того дня годы, и в намеченные еще в Ереване сроки по всем зонам, разделенным тысячами километров, в одно и то же время поднимались на борьбу армяне – члены Национальной Объединенной партии. КГБ бесился, не в силах уследить, как налажены связи, кому-то доставалось, кого-то распекали, кому-то что-то поручали. С Айрикяна пробовали не сводить сексотских глаз – ничего не помогало. Тогда его наказывали – сажали в карцер.

Голодовка 11 – 13 августа разозлила гебистов сильнее обычного, вернее, они растерялись. Только этим я объясняю странный промах: когда Паруйру угрожали репрессией за организацию лагерных беспорядков, то в виде доказательства показали заявления участников акции в пермских лагерях – Ашота Навасардяна и Баграта Шахвердяна. Так Паруйр почти сразу узнал, что запланированная акция исполнена точно и повсюду.

Мы ожидали отправки Айрикяна в карцер в ближайший этапный день (так как наша зона считалась маленькой, то в ней не завели собственного карцера, а наказанных за нарушение режима отправляли отбывать срок в соседнюю, "большую" зону – на девятнадцатый лагерь по этапным дням). Но, видимо, на этот раз с ним решили свести счеты по-крупному. Тоже мне наказание – две недели в карцере! Зиненко и его шефам не хотелось отдельваться такой "ме-

лочью". Но большое наказание требовало подготовки – они начали его готовить.

Внезапно стал проявлять поразительную активность Паруйров стукачишко Петр Ломакин. Его лагерный срок кончался через три, что ли, месяца, и уродец стал размышлять как жить дальше, вне зоны. Нищенствовать надоело, зато понравилось пользоваться сучьими льготами. И пределом мечтаний казалось устроиться в штат. У меня создалось впечатление, может быть, ложное, что начальники даже заговаривали с ним о чем-то конкретном. Разговаривая со мной в эти дни, он раздувался от важности, предвкушал славное государственное будущее: "Вы еще посмотрите, Михаил Рувимович, в каком кабинете придется со мной разговаривать".

Но такой "кабинет" предлагалось заработать. Ломакин прекратил двойную игру и предался всей душой капитану. А тот поставил ему мишень: Айрикяна.

Первой они отработали такую схему действий: капитан назначил Ломакина в цех "контролером качества" сдаваемых изделий, то есть попросту рукавиц. Ломакин стал день за днем браковать все, пошитое Айрикяном. План был задуман неплохо: это давало возможность применять самые серьезные репрессии, – но ответственные дела нельзя доверять для исполнения психам. Почувствовав впервые в жизни вкус власти, пусть крохотулечной, Ломакин не удержался: он стал браковать продукцию всех швей-мотористов, с кем имел счеты. Как ни странно, но диссидентам приходилось сравнительно легко, исключая "намеченного" Айрикяна, – перед нами Ломакин как раз хотел предстать в образе "милостивца", который и самому Михаил-Рувимычу, вежливо указав на брак в пошитых рукавицах, все-таки отправит их в пачки сданных. Но кого он ненавидел и кто искренне ненавидел его – это конкуренты из лагерного "актива", люди, осужденные за участие в карательных операциях "гехаймефельдполицай" во время Второй мировой войны, а в советской зоне ставшие опорой капитана Зинен-

ко. Свита капитана видела в Ломакине живую и до ужаса неприятную карикатуру на себя и по возможности травила его, где могла. Теперь, заняв "должность", он получил возможность отплатить – и не упустил шанса. Пачки рукавиц, пошитых лучшими ударниками, членами секции внутреннего порядка и совета колонии, – все летели в брак. Актив взбунтовался! Под угрозой забастовки всего цеха капитан вынужден был снять Ломакина с его первой должности в жизни.

Тогда Ломакин стал, по выражению Паруйра, "внаглую" за ним ходить и подслушивать и подсматривать все, что тот делал. Но Паруйр был не глупее стукача – по меньшей мере, не глупее – и никаких поводов для репрессий не давал. Время, отпущенное уродцу, истекало, и тут, кажется, я своим неумелым вмешательством подсказал Ломакину, что надо сделать.

Я видел, что сам-то Паруйр относится к приставаниям Ломакина спокойно, он был опытным зэком и понимал что почем, но молодые друзья Айрикяна, Попадюк и Граур, готовились поколотить гада за его наглость. Мне стало жалко, все-таки калека и уродец, жалкий тип, трусоватый, а страсти в зоне накалялись, могли его и в уборную спустить – Паруйра товарищи любили... Однажды вечером я подозвал Ломакина и предупредил его:

– Петя, веди-ка себя потише. Когда человек так активничает... Ты видишь, что там? – и показал в сторону туалета. – Поберегись.

Наверное, в обычное время Ломакин последовал бы моему совету, но тут жадность его ослепила. Кроме того, он, видимо, не понял и решил, что это *я* ему угрожаю. А сообразив так, рассчитал: вряд ли я его сильно и жестоко побью (я не силач, да тут и не уголовная зона, где находят садистское удовольствие в избиении), зато побои с моей стороны послужат вещественным доказательством его старательности. Он станет заслуженным человеком у начальства.

С этого вечера он стал крутиться и задирать не столько

Паруйра, сколько меня. Но провокация дурачка выглядела слишком явной, я просто отходил в сторону, не замечая ни хамских выпадов, ни подковырок, ни намеков. Как любил говорить учитель моего детства великий Сталин, "собака лает, а караван идет своей дорогой".

В какое-то прохладное утро мы с Паруйром и другими товарищами вышли из цеха на перекур к отведенным для этой цели скамейкам во дворе. Ни он, ни я не курили, но поговорить любили в этом месте, где вокруг не стояли стены с возможными подслушками и где можно спокойно обмениваться мыслями, не опасаясь получить замечание от надзирателей за "нахождение в неположенном месте. На ровном месте видны издали все передвижения надзирателей и стукачей.

Вдруг, минут через пять, к нам подковылял Ломакин. Сказал мне какую-то гадость (что-то типа "мы знаем, кто у начальства бо́льшие льготы получает, Михаил Рувимович"), я встал и, не желая пачкать об него свои уши, поднялся на горку в туалет. А когда вышел оттуда – сколько минут прошло? – увидел необыкновенную сценку.

Посреди двора стоял в позе оратора Петя и яростно махал здоровой рукой. Он поразительно, до мелочей напоминал Адольфа Гитлера в момент экстаза на трибуне рейхстага, когда фюрер обещал сокрушить происки мирового еврейства. Айрикян уходил от него к курилке спиной, явно не слушая цицероновских заклинаний хромоногого. Вдруг Ломакин нагнулся и схватил кирпич. Кто-то крикнул: "Паруйр!" – и тут я понял, что такое реакция молодого парня: еще ничего не видя и не зная, Айрикян мгновенно собрал тело в комок, и запущенный со всей силы обломок задел его спину только по касательной. Ломакин сорвался с места и вприпрыжку помчался к вахте между зонами – докладывать капитану. Вслед за ним, смущенно усмехаясь, вразвалку пошел Айрикян.

Что же случилось в мое отсутствие?

Лопнуло у Паруйра терпение. Когда я ушел, он напо-

ристо предложил Ломакину убираться: "Не люблю, когда рядом со мной воняет стукачом". Ломакин отпарировал в обычном стиле: "Еще неизвестно, кто у нас в зоне настоящий стукач, Паруйр Аршавирович". Я такие намеки мог терпеть не только потому, что мое презрение к Ломакину не позволяло хоть на унцию на него обижаться, но еще потому, что был зэком-новичком, не вписанным в систему лагерных отношений. Но Паруйр, зэк опытный, снести подобное не имел права: он знал, что на такие намеки, от кого бы они ни исходили, "положено отвечать". Неторопливо снял с ноги черный широконосый ботинок (он никогда не носил кирзовых сапог, только ботинки), приподнял Петю за шиворот и, держа ботинок в другой руке, несколько раз трахнул того ботинком по тощему и подергивавшемуся заду. Так мне описал инцидент Зорян Попадюк.

Ломакин якобы визжал, как поросенок под ножом, и Паруйру надоело. Он отпустил стукача, тот отбежал, вдруг повернулся к Айрикяну и стал ему выкрикивать какие-то нелепые угрозы: "Посажу! Клянусь – посажу! Ты узнаешь – Ломакина нельзя трогать!". Остальное я видел.

Зачем же пошел в жилую зону Айрикян?

Опытный и просматривавший вперед планы противника, он торопился к врачу, пока тот еще не успел получить указаний от капитана. Явившись к "медику" (ох, этот медик! Но не будем отвлекаться от сюжета), он показал ему след от удара кирпичом, и тот записал в лечебной карточке, что у "больного синяк на спине от сильного удара".

Уже через час – эх, как стояли наготове! – прибыли в зону гебисты и совместно с Зиненко начали следствие. Пошли допросы. Впоследствии Айрикяну дали прочитать протоколы: все заключенные, к нашему удовольствию, дали показания в пользу Паруйра. И заслуженный учитель Украинской республики Копотун (он сидел за анонимное письмо в адрес первого секретаря ЦК Украины), и калмык Дорджи Эббеев, и даже лагерные активисты показали одно и то же: Ломакин швырнул кирпич в сторону Айрикяна,

и тот удачно увернулся, избежав тяжелой травмы. Как Паруйр стегал Петра Петровича ботинком – это видел лишь один свидетель: солдат на караульной вышке. Он показал, что Айрикян ударил Ломакина первым (что было правдой). Исход следствия, конечно, был предрешен, но передавать его настоящему суду с такими показаниями было невозможно – даже в зоне. Айрикяна "оформили на комиссии" и выдали наказание – шесть месяцев лагерной тюрьмы, деликатно называемой "помещениями камерного типа" (ПКТ), или "тюрьмы в квадрате", как зовут ее зэки. Фактически ПКТ – самое тяжелое наказание, возможное на этот срок в лагерных условиях: в ПКТ в полтора раза сокращается пищевой рацион ("пайка"), в два с половиной раза меньше закупка дополнительных продуктов ("отоварка"), в четыре раза меньше переписка, чем на зоне (одно письмо в два месяца) и полный запрет на свидания, даже краткосрочные. О такой мелочи, как ограничения на чтение книг и газет (не больше двух книг в камеру в неделю) не стоит говорить...

Собственные продукты, хранящиеся у зэка в каптерке, брать в тюрьму не разрешается. Паруйр отдал все продукты, имевшиеся у него, казначею "Фонда репрессированных зэков" Грауру, распорядившись: "Устройте праздник. Чтобы они видели: мы на них плевали, вместе с их наказаниями". Так и запомнился этот "пир во время чумы", особенно тем, что вдалеке вертелся Ломакин, явно расстроенный, что его не пригласили к столу.

...Чтобы закончить "ломакинский сюжет" и уже не возвращаться, забегу на год вперед. Летом следующего, 1976 года Айрикян рассказал мне про весточку от Лены. Оказалось, что Петр Петрович побил рекорды наглости даже по привычным среди уголовников нормам. Выйдя на волю, он был брошен своими бывшими опекунами (что естественно) и снова стал нищенствовать. И, приехав в Москву, отправился к родственникам тех людей, которых продавал в зоне, – за помощью. Он, оказывается, потихоньку поднабрал таких адресов в зоне. Побывал в семье у московского математика

А.Болонкина, а оттуда пошел просить денег у... Лены Сиротенко. По словам Паруйра, Лена знала, что Ломакин – стукачишко. Но про его роль в собственной судьбе Айрикян не сообщил ей. "Почему?" – "А, еще скажут: Айрикян поймался на провокацию. Нехорошо". Поэтому, когда тот вдруг появился на пороге московской квартиры, она пожалела изуродованного человека, Богом обиженного, и... помогла ему: накормила и подарила сколько-то денег.

Я понимал Лену и сочувствовал ей. Но Айрикян был недоволен. "Сообщил ей: "Мы не для того передаем на волю имена провокаторов, чтобы вы кормили их".

* * *

Итак, Айрикян выбыл из зоны на шесть месяцев. И все-таки мне удалось повидать его.

Расправившись с главным "заговорщиком", начальство решило рассчитаться за армянскую голодовку и с другими ее участниками – "сообщниками Айрикяна".

Граура, меня и Юру Бутченко (звукооператора, предлагавшего свои услуги ЦРУ и севшего за это на восемь лет) этапировали в карцер 5 ноября – накануне больших большевистских праздников. Карцерные клетки находились в том же бараке, что и клетки внутрилагерной тюрьмы ПКТ, только по другую сторону коридора. Наша с Юрой Бутченко камера находилась точно напротив камеры, где отбывал шесть месяцев Айрикян*.

---

* Читателя может удивить, зачем гебисты свозили в общий карцер и общую тюрьму заключенных из разных зон. Ведь там, в карцере, они могли обмениваться информацией, планировать совместные акции протеста и т. д. Верно. Фокус заключался в том, что все камеры были оборудованы подслушками, на которых постоянно дежурил оперативник МВД. Зэки делились информацией, оперативники ее ловили. У каждой из сторон имелись свои интересы. В чью пользу складывалась игра – зависело от искусства играющих. Во всяком случае, эмведисты были довольны, но заключенные считали, что в общем итоге они больше выигрывали. Кто был прав – судить пока рано.

Несколько необходимых пояснений на тему, что есть карцер. Это небольшая камера, где заключенным не дают для сна постельные принадлежности, а нары лишь на ночь отстегиваются от стены, а днем снова пристегиваются к ней, чтобы не смели ложиться. Для меня самым тяжелым было требование надзирателей, чтоб я спал головой к двери, куда нары немного скатывались: спать вниз головой неудобно. Днем же я все равно лежал, но на полу. В камеру не дают бушлат, поэтому укрыться на ночь нечем, а летом (потом я побывал и летом) раздевают нижнее белье, чтоб ночью зэку было похолоднее. Питание там усеченное: через день кормят горячим, но и эта норма меньше обычной лагерной раза в полтора, а в промежутках – так называемые "голодные сутки", когда кормят только хлебом – если память не изменяет – 400 граммов и три кружки кипятку. Для разных людей в карцере приготовлены разные тяжелые испытания – по характеру. Иным тяжело дается голод, другим ночной холод, когда нечем укрыться, третьи не могут спать без подкладки под головой (для этой цели зэки догадались приспосабливать обувь, на ночь снимаемую с ног и подкладываемую под голову). Желудочным больным тяжелее всего "оправка" – хождение в туалет раз в сутки, в строго определенные режимом минуты: больной желудок, как правило, плохо слушает инструкции МВД. Некоторые трудно переносят информационный голод (две недели без радио, газет, книг, даже без разговоров, если нет соседа по камере). А есть такая категория, которая сходит с ума без курева. Для курильщика прожить две недели (срок дается до 15 суток) без сигарет – буквально пытка. Во всяком случае, мой сосед по камере Юра Бутченко, хотя сроку ему дали всего неделю, прямо лез на стенку уже к концу первых суток, не получая табака. Не мог ни есть, ни спать.

На его счастье напротив сидел Айрикян.

В отличие от карцерников, "долгосрочник" Айрикян пользовался правом заказывать продукты в лагерном магазине – на два рубля в месяц. Сумма ничтожная по любым

параметрам, но и на эти рубли некурящий Айрикян заказал в магазине несколько пачек махорки. Он знал: рано или поздно приедут в карцер товарищи, которые будут мучаться без курева. О них положено подумать заранее. Итак, табак, бумага, спички – все было приготовлено. Но как доставить припасы через коридор, по которому постоянно прохаживается надзиратель? Как доставить его через две решетчатые двери, закрытые на три замка, и две обитые сталью двери, закрытые еще на три замка?

И вот я оказался свидетелем буквально циркового номера. Описываю его только потому, что "ментовне" он известен, но практически предотвратить они не могут, он зависит от мастерства исполнителя. Паруйр – ого, какой это был мастер! – дождался, когда уставший надзиратель зашел попить чаю в караулку и коридор опустел. Обезьяной взобрался по прутьям дверной решетки наверх, к вентиляционному окну. С другой стороны коридора, как раз напротив, было вентиляционное окно нашей камеры, где уже повис Юра Бутченко. Одной рукой Паруйр цепляется за решетку, в другой у него духовое ружье, приготовленное из бумаги. Выстрел – и в нашу сторону летит пуля из хлебного мякиша. В нее вделана нитка. Миг – и пуля попала в наше окно. Юра хватает ее и зацепляет нитку. Она висит под самым потолком коридора, белая нитка, неразличимая на белом фоне оштукатуренного потолка. Мост готов!

В эту секунду возвращается надзиратель, и оба зэка бесшумно соскальзывают вниз. Главное сделано. Теперь надо дождаться, пока он уйдет еще раз. Ушел. И вот уже вслед за ниткой тянется привязанная к ней сзади тонкая веревочка, а к ней приделан бумажный пакет: в него вложены пачка махорки, спички, зажигательная поверхность – словом, полный комплект для курильщика. Пакет скользит под потолком, вот он уже на нашей стороне, вот он отвязан, и через секунду веревка, а за нею нитка уползают обратно в камеру Айрикяна. До новых переправ! Когда надзиратель, выпив стакан чаю, снова появляется в коридоре, никаких

следов лихорадочной деятельности двух зэков не осталось. Юра тихонько закуривает и блаженно произносит: "Слава Паруйру!".

Но вот прошла неделя, кончился Юрин срок, его и Валеру Граура увезли обратно на зону, а я остался досиживать свои четырнадцать суток в ШИЗО (штрафной изолятор – стыдливое название, придуманное для карцера).

Стало скучно. Правда, в первый день меня развлек наш уполномоченный КГБ капитан Виктор Зоренков – пришел "побеседовать", прощупать настроение насчет "помиловки". Принят гость был по-джентльменски, выложено на стол угощение: был как раз "голодный день", и я разломил пайку пополам, пододвинул ему кружку кипятка: "Угощайтесь, Виктор Васильевич". Он засмущался: "Что вы! Что вы!". "Лучшего нет, вы уж простите, вот на зоне у меня маргарин, повидло – там смогу угостить". Запомнился забавный конец беседы: Виктор Васильевич, парень молодой, плечистый, без особых примет и сентиментов, таких в "командос" в войну берут, вдруг ужасно засмущался, как-то нелепо, торчком сунул руку в карман, вытащил пачку индийского чаю, гебистской валюты на зоне (обычной валютой зэков служил грузинский чай), и с залихватской интонацией предложил: "Может, хотите, Рувимыч?". За чай он не просил услуг, это точно, может, ему просто стало неловко при виде пайки и пустого кипятка – захотелось что-то сделать для собеседника, который его лично не обижал, а может, были у него дальние цели и я просто идеализирую, не знаю – но я, конечно, отказался: "Спасибо, не люблю чай". На всякий случай спокойнее от них ничего не брать. Только он простился со мной и вышел, как из противоположной двери, где был выбит "глазок", донесся голос с неподражаемыми восточными модуляциями Айрикяна: "Начальник, начальник! Не забудь прийти ко мне!". "Зачем?" – остановился на бегу Зоренков. (Я наблюдал сцену тоже через выбитый "глазок".) "Начальник, у тебя есть чай, открой портфель, дай мне чаю! Зачем ты еще сюда ходишь,

начальник? Приходи, побеседуй, наладь со мной контакт, начальник, я у тебя чай возьму – отчитаешься в работе!" Совершенно затормошенный таким издевательским отношением к своей оперативной работе, Зоренков зарычал: "Да что к вам, Айрикян, ходить, только время даром тратить! Нет у меня для вас чаю!" – и рысью вылетел из штрафного барака.

Я еще подумал: только с таким непоколебимым авторитетом, как у Паруйра, можно позволить просить в открытую чай у гебиста. Только ему позволено так шутить!

Но этот эпизод развлек меня на первый день. Потом стало скучно: сколько можно лежать на полу, прижимаясь изо всех сил поближе к печке! Надоедает. Тут Паруйр и подкинул мне две газетные полосы из журнала "За рубежом" – они были спрятаны в условленном месте по дороге в туалет. При карцерной скуке эти несколько статей поддержали меня не меньше, чем табак Юру Бутченко. Кстати, не только духовно, но и материально: ночью в камере становилось прохладно, спать невозможно, я ловил момент, когда надзиратель отходил, и заворачивался в газету (под робой) – получалась отличная утеплительная прокладка, и я первый раз за десять суток нормально отоспался. Но главное, конечно, возможность читать! До сих пор, семь лет спустя, помню, какие статьи там были напечатаны: одна была о поставке во Францию гигантского советского станка-пресса и о том, как Франция нуждается в торговле с СССР. Другая излагала выступление перед паствой английского епископа Саутворка. Достопочтенный епископ объяснял, что в Англии молодежь разлагается морально, потому что там общество потребления, зато что тех, кто оступился и встал на путь преступления, замечательным образом перевоспитывают в не менее замечательных местах заключения. Возможно, епископ был очень старым человеком, начитавшимся в молодости горьковских и макаренковских книжек про "колонии", и его по-человечески нужно извинить, но когда видишь своими глазами, что делают в этих зонах с молодежью, иначе

чем плевком не хочется ему ответить. Ведь те немногие детали быта, которые я описал (а описывать так называемые трудности тюрьмы я не люблю, тюрьма и должна быть тяжкой, это естественно. "Змея есть змея, тюрьма есть тюрьма" – справедливо говорил Сталин), – это все происходит в *первом*, самом лучшем из кругов ада. Ведь по-человечески с нами администрация лагерей и КГБ обращаются неизмеримо лучше, чем с молодыми бытовиками. Нас они уважают: ведь и эмведисты, и даже низовые гебисты – все сами страдают от тех же зол, что и рядовые советские люди: от нехватки денег, продуктов, товаров, унижения со стороны начальства, от непонимания политики собственного руководства (гебисты с трудом скрывали от нас презрение к Брежневу). В их глазах мы чаще всего не враги, а просто "чокнутые", дураки, которые полезли на крепостную стену с голыми руками, а над такими людьми можно смеяться, но не уважать их нельзя. Поэтому климат в политических зонах намного легче, чем в бытовых, где сосредоточены миллионы любимцев епископа Саутворка – советских молодых людей. Они отданы там под власть воровских "паханов" и не менее отвратительных лагерных "активистов" (повидал я и тех, и других собственными глазами, поэтому в отличие от епископа, говорю, что знаю. Про что не знаю – не говорю). Их развращают в зонах педерастией, их соблазняют наркотиками и азартными карточными играми, весь воздух уголовных зон пронизан духом подготовки к будущим преступлениям. И *это* рекламирует миру человек, считающий себя искренне верующим христианином! Вы, мои западные читатели, можете возразить: ну, подумаешь, слова, мало ли их произносится... Это здесь, на Западе, его слова – только слова, одни из многих слов. Но там, на Востоке, они используются для того, чтобы убедить оскотиненных людей, что они не рабы ГУЛАГа, а самые свободные люди на земле: вон даже английские епископы завидуют вам!

Паруйр не без умысла подбросил мне статью епископа Саутворка. Потом уже рассказывал:

– Тебе разве Прикмета про настоятеля Кентерберийского собора...

Примечание в сторону: Прикмета был нашим общим бригадиром из гитлеровских военных преступников. Сидел после войны, вышел, потом сел по второму заходу.

– ...он не вспоминал про этого настоятеля?

– Хьюлетта Джонсона?

– Не помню...

Еще бы ему помнить! Это я помню сталинского лауреата борьбы за мир, настоятеля из Кентербери Хьюлетта Джонсона: на его примере, на цитатах из его речей нас воспитывали в убеждении, что товарищ Сталин – величайший гуманист нашей планеты.

– ...Прикмета рассказывал, что этот настоятель захотел посмотреть своими глазами величайшую стройку века – Волго-Донской канал. Желание законное (я не вижу Айрикяна, но буквально через две двери ощущаю широченную ухмылку). Море глубокое, канал широкий, статуи товарища Сталина высотой в пять этажей. Но было одно затруднение: по всем берегам от Волги до Дона стоит колючая проволока и вышки с автоматчиками. Строили канал зэки. Сталин сказал дорогому английскому другу-священнику: "Достопочтенный отец! Канал готов, но дорогу рядом с ним еще не успели проложить. Посмотри нашу величайшую стройку с высоты птичьего полета. Дадим тебе специальный самолет". И полетел самолет вдоль трассы. На глазах у Прикметы в течение двух часов бульдозеры снесли вдоль канала все вышки и всю колючку. Настоятель пролетел, посмотрел, на следующий день стали вышки ставить снова. Это у английских священников старая традиция – восхищаться концлагерями, в Англии традиции уважают... Я-то думал, ты больше на речь Трюдо бочку покатишь, – передразнил Паруйр блатной жаргон.

– Какую речь Трюдо?

– В статье о Норильске...

Я примостился под дверью (чтобы надзиратель не уви-

дел лист в глазок) и снова полез в газету. Господи, Боже мой! Премьер-министр Канады побывал в советском городе Норильске, построенном за Полярным кругом, и одобрительно сказал: "Вот как надо строить города на севере". У них, в Канаде, оказывается, тоже есть проблема с северными городами...

В нашей зоне досиживал срок один из стариков, который по первому заходу отбывал приговор в Норильске. "Каждый год, – рассказывал нам с Паруйром, – прибывало этапом двадцать тысяч зэков. Но контингент, – старик употреблял это жаргонное надзирательско-гулаговское слово, – не прибывал: каждый год сколько было людей к началу, столько оставалось и к концу. Так всю войну". Он не говорил про могилы, про голод, про всякие ужасы, он просто констатировал: контингент не прибывал в численности. Если это правда, то только за годы войны в фундамент Норильска положили восемьдесят тысяч трупов заключенных! "Вот как надо строить города на севере", – сказал премьер-министр Канады, и его слова вдалбливают миллионам советских людей: гордитесь Норильском, вам завидуют канадцы.

Я не выдержал и, изменив своему правилу, стал материться: ненавижу мат, а тут – не выдержал. За дверью замер изумленный надзиратель, а через коридор слышалось довольное гыканье Паруйра Айрикяна.

КГБ ИГРАЕТ С АЙРИКЯНОМ

Все на свете имеет конец. Это пошло, но это правда. Кончились и шесть тюремных месяцев Айрикяна.

Мы готовились встретить друга пиром, собирали продукты, запасались лакомствами из посылок: каждый берег что-то вкусное к празднику. Освобождение Паруйра – конечно, праздник. Но вот он появился на зоне, я поспешил с собранными на наши полтинники продуктами (в это время Граур уже освободился, и за фонд отвечал я), а Паруйр, только вышедший из тюрьмы, привез на зону... рюкзак вкуснейших продуктов! Нет, этот восточный богач положительно сводил друзей с ума!

Впрочем, секрет его богатства – это секрет обаятельной личности, имеющей друзей среди всех, не только среди армян: из тюрьмы Паруйра везли к нам в зону в одном автозаке-"воронке" с Борисом Пэнсоном, сионистом, осужденным на десять лет по знаменитому делу о похищении самолета в 1970 году. Бориса этапировали в Ригу, на свидание с матерью, которую насильственно выдворяли из СССР (старая женщина заявила: "Можете посадить в тюрьму, но без свидания с сыном не уеду", и начальство, вздохнув, уступило безумному натиску бесстрашной матери). Узнав, что Паруйр едет из тюрьмы, он сразу отдал ему свои продукты: "Мне мама даст на свидании новые". Борис считался в зонах человеком "богатым"*, поэтому его рюкзак позволил

---

* Оказавшись через полгода в "большой", девятнадцатой зоне, я узнал источники богатства Пэнсона. Художник организовал нечто вроде фирмы по изготовлению художественных изделий из дерева

Паруйру с самого начала устроить на зоне такой пир, что его и месяцы спустя вспоминали одобрительным кряканьем.

За столом Айрикян поделился своими обидами. Находясь в ПКТ, он узнал, что Арарат Товмасян – как читатель, надеюсь, помнит, тот был этапирован в девятнадцатую зону, где находился общий карцерный барак, – подал прошение о помиловании. Но долг земляка был для Арарата превыше всего, и он нашел канал в карцерный барак, чтобы подкормить Паруйра. Айрикян не принял ничего из рук "позорника"!.. Признаюсь, мне было непонятно свирепое презрение политзаключенных к тем, кто просил помилования у советской власти. Говорю об этом тем легче, что сам я отказался его просить, несмотря на явные намеки, что мне точно пойдут навстречу, и "Михаил Рувимыч через год будет дома воспитывать детей", – как обещал моей жене и матери следователь. Я верил и все-таки отказался, и тем более имею право признаться, что никогда не испытывал желания осудить тех, кто избирал другой путь. Почему политзаключенные, в их числе Айрикян, так презирали подавших "помиловку"? Почему они сразу отторгали их от общества, как организм отторгает чужеродный белок? Подавший "помиловку" мысленно переводился в категорию бывших сотрудников "гехаймефельдполицай" и гебисткомиссариатов, то есть людей беспринципных, чья ссора с советской властью воспринималась в диссидентском кругу как ссора непознавших друг друга братьев по духу. Ну почему нельзя обмануть противника лживой бумажонкой, цена которой для каждого разумного человека – ниже стоимости той бумаги, на которой она написана? Возможно, размышлял я в те годы, это объясняется желанием полностью порвать связь с властью. Советский человек в глазах диссидента –

для местного руководства (в частности, для гебистов). На вырученные от этой "торговли" средства был создан "канал" на волю, через который уходили в "большой мир" рукописи заключенных поэтов, журналистов, писателей: Стуса, Чорновола, и мои книги тоже.

этот тот, кто думает о власти одно, а говорит ей вслух другое: таков Андропов и все его подчиненные, и все члены Политбюро, не говоря о других, более мелких людях. Если ты сказал вслух, то есть в бумажке на их имя, что согласен принять правила их игры, думать о них одно, а писать им другое – ты по сути остался советским человеком, ты – *их!* – человек. Тогда зачем тебе сидеть за диссидентским столом в лагерном бараке?

Все это лирическое отступление нужно для того, чтоб объяснить, почему сидевший в тюрьме Айрикян отказался есть продукты, которые с немалыми усилиями, затратами и жертвами сумел протащить Арарат. "Ничего не возьму из рук позорника", – написал он в ответ. Оскорбленный Товмасян прислал записку в камеру: "Не тебе упрекать! Я выйду к армянской семье, а ты связался с еврейкой". Уже в нашей зоне задним числом Паруйр кипятился: "Еврейка борется за независимость Армении, значит, она настоящий человек, а ты, Арарат, ссучился! Помиловку подал, козел!". Заочная полемика нас забавляла, хотя мы понимали, что у Арарата найдется немало единомышленников. Паруйр и его друзья уже вышли на тот уровень, когда братство личностей определяется братством духа, братством совместной борьбы и жизни, но достаточное число его соотечественников пребывало на стадии, когда главное – общая кровь.

День возвращения Паруйра из ПКТ запомнился мне, потому что тогда мне удалось отговорить его от задуманной акции протеста – и я оказался неправ. Теперь, годы спустя, это публично признаю.

Уведя меня на круг, Паруйр сообщил, что он задумал в тюрьме отправить приветственную телеграмму – Анвару Садату:

– Ему будет приятно получить слово сочувствия из советской тюрьмы!

Айрикян тут же обосновал идею акции. По его мнению, Третий мир показал себя едва ли не более подлым, чем оба первых. Бывшие колонии получили свободу и приветствуют

Советский Союз, раз он помогал им освобождаться от западных метрополий. Им наплевать в самодовольном эгоизме, что колониям восточных государств, в частности России, никто не дает свободу и независимость. Главное, что Союз снабжает их танками, самолетами, автоматами...

– ...они теперь могут убивать друг друга, и потому говорят спасибо стране, которая ни одну свою колонию не отпустила!

Я, как всегда, старался соблюдать объективность. Особенность бывших русских колоний при "развитом социализме", специфика их существования заключается в том, что народы этих колоний в среднем живут легче, чем народ метрополии. Во всяком случае, так кажется стороннему наблюдателю, вроде меня. Если бы армяне, например, в среднем жили хуже русских, если бы уровень их существования напоминал уровень существования индийцев в сравнении с английским, возможно, Третий мир сочувствовал бы им. Но хотя армянский народ ведет трудную борьбу за жизнь, русским, в общем-то, еще хуже... Поэтому непонятно, кому надо сочувствовать и против кого протестовать!

– Паруйр, мне пришлось познакомиться в Ленинграде с одним якутом. Он с удовольствием цитировал китайское радио: "Русская колония Якутия". Но в разговоре со мной признал: "Когда я видел, сколько богатств русские вывозят из Якутии, ну, думал, как же они там, у себя, живут, наверное, в золотых ваннах купаются. Приехал в Ленинград – честное партийное, мы, якуты, богаче ленинградцев живем!".

– Какое нам, армянам, дело, как живут у себя в России русские! – возражал Айрикян. – Они дерут с Армении больше, чем англичане с Индии драли. Если англичане то, что брали, потратили на себя, на свою красивую жизнь, а русские все, что забирают с колоний, тратят на какую-то Кубу или Вьетнам, и еще вдобавок от себя отрывают последнее – нам что до этого! Почему мы должны забивать свою голову их бедами? Главное, что они империалисты, и Садат первым

из всего бывшего колониального мира посмел сказать это, а как делятся колониальные прибыли – вопрос совсем другой...

Телеграмма у него уже была готова. Но я стал его отговаривать. Не буду скрывать – сказалась моя еврейская ментальность. И нас понять можно: евреи с недоумением и почти испугом следят за тем, как арабы нарушают слово, данное ими своим же братьям по крови и вере: сколько десятков раз заключались соглашения о прекращении огня в Ливане между враждующими общинами, торжественно подписывались и в тот же день нарушались! С какой легкостью убивали арабы друг друга: иорданцы – палестинцев, палестинцы – ливанцев, сирийцы – палестинцев, алжирцы – марокканцев и т. д. Евреям, среди которых привязанность к землякам чрезвычайно сильна, немыслимо уважать как равных себе людей, которые с легкостью фокусников пускают в ход оружие против земляков и единоверцев. Вот почему евреи с патологической недоверчивостью относятся к любому добропорядочному поступку своих соседей! И я тогда не верил в серьезность и принципиальность новой политики Садата, не верил и сумел убедить Айрикяна.

– Он же мусульманин, Паруйр, – думаю, этим аргументом и убедил друга – армянское недоверие к туркам должно распространяться и на мусульман вообще. – Вы-то, армяне, знаете их (о, это "они", собирательное местоимение, от которого так трудно избавиться нашему мозгу!). Сегодня он делает одно, завтра ему будет выгодно другое – предаст друзей и повернет обратно, полетит целовать Бровермана* в аэропорт Шереметьево, а ты попадешь в глупейшее положение со своей телеграммой. Стоит подождать.

Паруйр подумал, вытащил текст, записанный микроспособом, уже готовый к переправке "через забор", перечитал его и нехотя, недовольный, пошел в туалет. Сжег его спич-

---

*Броверман – лагерная кличка Брежнева.

кой и пепел ссыпал в "очко". Старый конспиратор, сразу видно!

* * *

Летом семьдесят шестого года он предложил всем друзьям-неармянам, кто пожелает, вступить в члены НОП.

Это было проделано в полном соответствии с уставом партии: каждый, кто признавал идею независимости Армении и соглашался бороться ради нее – независимо от национальности, что было оговорено в уставе, – подавал Айрикяну мотивированное заявление с просьбой о приеме. Заявление обсуждали в узком кругу ноповцев, обычно за столом, который находился около барака, и в случае положительного ответа (отказов не было: ведь вступление в НОП в лагере могло принести новобранцу лишь новые карцеры и прочие репрессии) новый член НОП проводил испытательную акцию по указанию руководителя, Айрикяна. Обычно это была однодневная голодовка протеста с требованием легализации НОП и проведения референдума о независимости Армении. После акции он считался принятым. Конечно, мы, неармяне, не стали полноправными членами НОП, и украинский поэт Василь Стус придумал для себя определение "член-симпатик НОП", которое большинство "прозелитов" примерило и нашло подходящим. Только я по аналогии с ассоциированными членами Общего рынка назвался ассоциированным членом НОП и был утвержден в этом звании Паруйром Айрикяном.

Зачем он придумал такую акцию?

Айрикян серьезно переживал, что, по его мнению, НОП в Армении утратила свою активность. Наверное, это было естественным состоянием: организация, утратившая вождей, должна какое-то время пребывать в летаргии, пока не вырастут новые лидеры на смену. Расчет Паруйра, что сидящие члены НОП станут как бы маяками, точнее – факелами, постоянно подбрасывающими искры в костер нацио-

нальной борьбы и солидарности, видимо, был неправильным (сужу издалека и, возможно, неверно, но так это казалось издали). По-моему, акция по вступлению в НОП группы неармян играла, в первую очередь, для Айрикяна все ту же пропагандистскую роль. Он как бы упрекал ею оставшихся на свободе товарищей: смотрите, даже русские, украинцы, прибалты, молдаване, евреи, все честные люди, сидящие в зонах, готовы выступить за свободу и независимость нашего народа; чужие люди проводят голодовку ради солидарности с армянскими братьями по судьбе – где же вы, армяне, где же ваша солидарность?

Честно говоря, человек, *уже* сидящий, рискует потерять много меньше, чем тот, которому посадка еще только грозит. У заключенного самое дорогое потеряно в прошлом, и он не так дорожит оставшимся, чтоб больше не рисковать. Кроме того, мы находились в определенном обществе, где выступление против советской власти котировалось высоко, а на миру, как говорят русские, и смерть красна. Вдобавок, с зэками находился Айрикян, а гонка за лидером всегда легче... На воле страшнее и труднее жить свободным человеком, чем в зоне, – этого-то Паруйр и не предвидел.

Скрывался в этой акции, помимо практически-политического, еще и теоретический урок для земляков Айрикяна. Наконец-то воплотился в жизнь тот пункт устава, который гарантировал членство в НОП каждому "иноплеменнику", готовому признать и отстаивать принципы и цели НОП. (До нас членами организации состояли исключительно армяне.) Но самое главное: Паруйр стремился практически продемонстрировать армянам и русским отсутствие у НОП примитивной ксенофобии, примитивных проклятий в адрес русских, которыми члены НОП грешили в прежние времена. Не "отрицательные" цели, вроде изгнания, проклятий, преследования какого-либо народа, но идеал собственного национального, ведущего достойную цивилизованного народа жизнь государства – вот чем должна духовно наполняться борьба его партии. Не против русских, а только против

колонизаторов, и за союз с теми русскими, кто принял идею национального государства армян: членами-симпатиками НОП стали Сергей Солдатов и Петр Сартаков, русские; Василь Стус и Вячеслав Чорновол, украинцы; и т. д. и т. п. Для Паруйра это был наглядный урок землякам-националистам того нового явления, с которым он столкнулся в зонах – подлинного, а не московского интернационализма.

Еще один парадокс зоны: националисты всех народов объединялись тут в общей борьбе (включая русских националистов), а ссорили, натравливали, разделяли тут людей по национальным клеткам вроде бы те самые, кому "до лампочки" национальное происхождение – коммунисты-гебисты. Со своей позиции они поступали разумно и целесообразно, разгоняя общество зэков по национальным группам, ну, например, таким образом: "Какое вам, Михаил Рувимович, дело до армян? Не понимаю... У них свои заботы, а у вас, у евреев, свои...". Очень убедительно, особенно в устах гебиста в секретном кабинете! Ереванские "товарищи" по-братски, по-землячески, в это же время советовали Размику Маркосяну, моему молодому другу (о нем ниже): "Что у тебя общего с этим евреем Хейфецем?". Все-таки забавно это звучало в устах "коммунистов-интернационалистов" – при всей тактической правильности таких "бесед", забавно, потому что "ограниченные армянские буржуазные националисты" называли братьями меня, и Солдатова, и Стуса...

* * *

Когда УКГБ начало с армянами вести операцию "Помиловка"?

Прошло больше шести лет, я точно не помню. Наверное, первые контакты и прощупывания начались еще во время нахождения Айрикяна в ПКТ. Он сидел в камере один, ему было скучно, и наверное, с удовольствием болтал на разные темы с гебистами, приходившими понюхать настроение. Но ПКТ не слишком удобное место для переговоров

с таким опытным и ловким противником, как Айрикян. Там сидят другие зэки – и в соседних камерах (одновременно с Айрикяном сидели в ПКТ московский математик А.Болонкин и волгоградский рабочий П.Сартаков), и в камерах напротив – в ШИЗО. Они регистрируют визиты гебистов, после каждой беседы "консультируют" клиента ГБ, влияют на него... Для стадии прощупывания это место идеальное, потому что в камерах установлены подслушки, и когда после визита гебиста в камерах начинается оживленное обсуждение "гостя", сам недавний гость уже висит возле приемника и впитывает, что на самом деле думают о нем хозяева камер. Имея такое "третье ухо", он планирует дальнейшие этапы, располагая, как считается, достоверной информацией. Но все же операция по "перевоспитанию" – так это называется на их птичьем языке – проводится вдали от зоны – в столице Мордовии, в саранском следственном изоляторе КГБ. Там на целом этаже, кроме единственного зэка, намеченного для кушанья, может не оказаться ни единого человека (кроме караула, понятно). Никаких контактов, кроме "нужных". Никаких свидетелей, даже караульных! Для "разговоров" объект операции вызывается в кабинет следователя, где и прокручивают с ним "пакетные сделки".

Весной 1976 года в Саранск увезли Паруйра Айрикяна.

По обычаю в Саранске держат месяца два, и Паруйр вернулся оттуда в срок, "как положено". Буквально излучал в эти дни токи – мне казалось, искры от его коротко остриженных волос отскакивали. Немедленно рассказал товарищам "содержание переговоров": гебисты предложили сделку – освобождение всех членов НОП в обмен на прекращение ими политической деятельности.

Паруйр так излагал ход "операции":

– Когда привезли, сначала со мной говорили только Зоренков и Мартынов...

Зоренков, напоминаю, был уполномоченным по нашей зоне, Мартынов – его шефом, начальником отделения КГБ.

– ...а когда поняли, что я не отказываюсь обдумать их

предложения, отношусь к этому серьезно, появился в кабинете полковник. Отстранил их и взял все дело на себя.

Здесь уместно сказать несколько слово о полковнике Дротенко, начальнике отдела КГБ "Дубровлаг". Невысокий, на вид крепкий, кривоногий полковник, с лицом и повадками решительными и неглупыми, он во многом определял дальнейшую судьбу зэков – не во время срока заключения, здесь он мог только консультировать местные управления ГБ, но *после* отбытия ими сроков. Он составлял характеристики, которые потом ориентировали будущих опекунов освободившегося советского человека – как именно его карать или, наоборот, подкупать. Аппарат себе подобрал любопытный – люди в отделе "Дубровлаг" служили нестандартные: или циники, много понимавшие, но работавшие для власти ради тех благ, которые она давала, и уж, во всяком случае, не дураки; или, как ни странно это звучит в применении к гебистам, своеобразные идеалисты – эти, конечно, были поглупее и понесчастнее. Жить в такой глуши, в такой грязи и вдобавок общаться с диссидентами, то есть подвергаться тяжелому идеологическому облучению, – вовсе не легко. Нам со стороны работа гебистов в "Дубровлаге" казалась стажировкой: обычно они отрабатывали два-три года, получали очередной чин и куда-то уходили – в Саранск или даже в Киев. Но полковник Дротенко выглядел среди них исключением: Борис Пэнсон, начавший срок пять лет назад, уже помнил его сотрудником "Дубровлага", правда, только капитаном. Видимо, неплохо шли чины в Мордовии, и Дротенко соглашался сидеть тут, на "боевом участке".

Меня интересовал этот человеческий тип. Дротенко казался нестандартным гебистом. Человек жесткий и решительный – другим он и не мог быть, – он производил странное впечатление стремлением казаться, на свой, конечно, лад, *правым*, а не только насильником и начальником. Он хотел защищать свою власть не только карцером или лишением ларька, но и словом, и поступком. Казалось, что полковник стремился понять логику своих противников и по-

бедить их не только лагерем, но и духовно, оставаться победителем не только внешне, но и по сути дела, что ли... Таков был человек, который весной семьдесят шестого года повел игру с Айрикяном в управлении Саранского КГБ.

Я внимательно наблюдал за игрой на всех этапах и думаю, что операции с армянами полковник придавал исключительно важное значение. Она должна была стать вершиной его деятельности в "Дубровлаге": игра велась серьезная, это была не просто гебистская постановка (гебисты обожают спектакли), не провокация – нет, полковник на самом деле добивался политического компромисса с заключенными членами НОП.

Зачем это понадобилось его шефам? – спросят читатели.

Могу предложить их вниманию только собственные домыслы, основанные на случайной фразе, которая выскочила у ереванских гебистов в беседе с отважным бойцом НОП Размиком Маркосяном – он цитировал ее мне:

– Вы даже представить не можете, как вы вредите нашей республике!

Тогда-то мы и раскидывали мозгами с Размиком, пытаясь вычислить, в чем же особый вред НОП для Армянской Советской Социалистической?..

Прежде всего, мы с Размиком предположили, что под "вредом для республики" гебисты подразумевают вред для армянского управления КГБ.

Но чем занимается это управление? Во-первых, следит за местным ЦК и партаппаратом, противоборствует с НОП и другими оппозиционными группами плюс – высасывает, как губку, по мере их наполнения финансами, состояния крупнейших "делашей" республики.

Решили, что это еще не все. Может быть, самая важная (именно в силу армянской незаменимости) функция ереванского ГБ – контакты с общинами армянской диаспоры, использование ее средств и влияния в интересах советской Армении и, следовательно, в интересах СССР.

Тут мы с Размиком разошлись. Он был уверен, что за-

рубежные общины в массе антисоветские, что там сильно влияние традиционных национальных партий типа "Дашнакцутюн". Я же предполагал – чисто теоретически, – что зарубежные армяне должны в целом благожелательно относиться к Союзу. И причина не чисто меркантильная: в Союзе живут миллионы армянских заложников, родственников и друзей армян диаспоры,–думается, поэтому их благожелательность к Союзу могла быть вполне искренней. Размик и его друзья уже привыкли жить в национальном окружении, им хочется большего – независимого национального существования. Но армяне за рубежом не имеют того, что Союз предоставил своим армянам – национального очага с определенной автономией. Впервые за века подневольного ига народ получил шанс развивать свою культуру, строить свои города, издавать и поощрять национальных писателей, развивать национальные театры... При всех минусах зависимого существования это все-таки был очаг, где древняя нация могла оправиться от Катастрофы турецкого геноцида, уничтожения лучших людей Армении, цвет национальной культуры. Такие раны залечиваются поколениями – и армяне, несмотря на все погромы, которые 60 лет обрушивались на них, как на все остальные советские народы, могли существовать в условиях безопасности от военного нашествия, безопасности, обеспеченной одной из сильнейших на планете армией. Кстати, эта армия могла казаться армянам и орудием осуществления более обширных национальных мечтаний. Если на земле есть община, где могут существовать национально мыслящие люди, которые искренне расположены к СССР, то это должна быть армянская община, – рассуждал я.

Для КГБ в современных условиях, когда у них острый дефицит в честных людях, согласных им помогать (где вы, былые времена великого и мудрого вождя народов Сталина!), такая община – сокровище, важный элемент в мировой игре, которую их команда ведет на четырех материках.

Но, конечно, честные люди в армянской диаспоре могут

сохранять лояльность (или просоветизм) лишь до того момента, пока в советской Армении не преследуется национально-патриотическое движение. Раньше агенты КГБ, курьеры и резиденты, инспекторы и информаторы могли разъяснять, что борьба идет не с армянами, а только с антисоветчиками, что это подавление политических противников, а не уничтожение патриотов. Новая программа НОП, в которой отвергался антикоммунизм, антисоветизм и русофобство, новая тактика организации, направленная на контакты с правозащитным движением, а через него с мировыми средствами информации, создали для гебистов тревожную ситуацию. Попробуйте вести работу с армянами на Западе, когда до них доходят вести, что за патриотизм, за желание видеть родину независимой, за чистую пропаганду молодые армяне получают сумасшедшие сроки – по десять, по двенадцать лет заключения и ссылки. Примет ли всерьез объяснения зарубежных представителей КГБ тамошнее армянское общество? Такую диспозицию событий рисовал я Размику Маркосяну. По моей версии, операция "Помиловка", которую столь активно проводил в Мордовии полковник Дротенко, диктовалась интересами иностранного отдела армянского КГБ. Очаг борьбы, называемый НОП, должен был погаснуть как бы сам собой – такова цель, которую ставили перед полковником.

Он попробовал дебютные шаги, и – кажется, стало получаться! Игру полковник вел достаточно умело – вынужден это признать. За годы своего служения в Мордовии он коечему научился у диссидентов: не мое, конечно, дело хвалить гебистов, но объективно он работал вполне квалифицированно.

Какова же была диспозиция игры со стороны Айрикяна?

Далее я смогу снабжать читателя не домыслами, пусть правдоподобными, а излагать факты, что называется, из первых рук: Паруйр делился со мной своими предположениями и планами.

Полковник хотел получить от него отказ от продолже-

ния политической (и, конечно, подпольной) деятельности, но не требовал обязательной для "помиловки" формулы: отречения от своих убеждений. В обмен предлагалось освобождение из заключения всех арестованных членов НОП.

Приемлемо ли было это для Айрикяна?

Опыт короткой передышки между первым и вторым арестом убедил его: заниматься подпольной и организаторской деятельностью, находясь под надзором ГБ, не слишком-то целесообразно. Такой человек, как он, может и в этом положении многое сделать, но в конце неизбежен скорый провал и, что важнее, провал людей, которые связываются с бывшим заключенным и действуют по его указаниям. Отбыв срок, Айрикян начинал служить для гебистов своего рода "подсадной уткой" – к нему тянулись новые борцы и здесь, на его квартире, их легче всего было выслеживать. Паруйр пришел к выводу – так он говорил мне, – что начинать сначала организационно-подпольную работу после десяти лет срока и через десять месяцев загреметь в Мордовию, утащив за собой молодых, – это вряд ли можно считать целесообразным методом борьбы. Следовательно, то, что предлагал ему полковник – отход от активной политической работы, – уже рассматривалось самим Айрикяном как один из перспективных вариантов. Это в его глазах вовсе не означало измены или отхода от НОП: конкретную политическую и организационную работу могли вести в будущем либо уцелевшие члены организации, либо вновь завербованные сторонники – в молодых патриотах нехватки не ощущалось. Себе же и другим ветеранам Паруйр мог отвести иную функцию: возможность духовного влияния на жизнь общества. Так как от него не требовали ни отказа от идеалов НОП, ни признания ошибочности его убеждений, у него оставалось достаточно возможностей, чтобы, не потеряв лица, выйти с успехом из начавшихся переговоров. Не стоит забывать: ему предлагали цену немалую – освобождение всех товарищей, да и самому Айрикяну оставалось сидеть тогда, в общей сложности, семь лет! Приступить к ак-

тивной жизни на воле на семь лет раньше – это и для молодого человека цена большая.

Во всяком случае, отнесся он к этим переговорам не как к игре, а как к серьезному политическому действию – это я видел своими глазами. Честь сохранялась, а об остальном можно говорить! Паруйр дал сигнал остальным ноповцам – разрешение идти на переговоры. Курьеры между нашей зоной, девятнадцатой "а", где сидел Азат Аршакян, и пермскими зонами, где находились Ашот Навасардян и Баграт Шахвердян, работали каждую неделю – я постоянно уходил за барак заводить антисоветские разговоры.

Сразу по возвращении из Саранска, буквально на следующий день после этапа, он позвал меня к себе и попросил прочитать черновик заявления, написанного по просьбе Дротенко в саранской камере. Паруйр знал: чтобы сохранить безупречную честь, нужно все переговоры с начальством вести публично, каждый шаг согласовывая со всем коллективом зоны. Как я понял, заявление служило своеобразным стартовым сигналом для продолжения игры с гебистами.

Прочитал я это заявление... В начале он описал эволюцию своих убеждений. Напомнил, что его взгляды сложились под влиянием старших товарищей – Гайка Хачатряна и Степана Затикяна: они рассказали ему о былой славе независимой Армении, о том, как отторгли от нее исконные земли, мимоходом, но с явным ехидством ввернул намек, что трагедия армян была связана не только с государственной деятельностью Турции, и назывались отторгнутые у армян при советской власти земли: Нахичеванская область и Нагорный Карабах. Дальше разъяснялось, что человек с такими взглядами не мог не начать борьбы за независимость своей родины и... выражалась надежда, что органы КГБ правильно поймут мотивы действий Айрикяна, разберутся в них и помогут ему найти выход.

Таким мне запомнилось содержание этого заявления. За точность общего смысла – ручаюсь, хотя прошло, как я упоминал, семь лет.

– Ну как?

Честное слово, я поразился, мне показалось, что он гордился творением своего пера.

– Это заявление – не самое лучшее, что ты написал в своей жизни, – только и решился я заметить.

...Наверное, опять пришло время для лирического отступления. Почему заявление Паруйра, написанное, как я понимаю, действительно, корректно и достойно, вызвало тогда сильное неприятие?

В зонах господствует убеждение: "Не бойся, не надейся, не проси". Не знаю, сам ли А.Солженицын это правило сформулировал, или просто цитировал народно-зэковскую мудрость, но правила вернее никому придумать не удавалось.

Чтобы читатель понял эту противоестественную логику, когда люди, осужденные на огромные сроки (я, например, получил шесть лет и был среди остальных "политиков" малосрочником, меньше моего приговоры были за все годы моего заключения, помнится, у трех человек), люди, которым предстоит сидеть по восемь, десять, двенадцать, пятнадцать и даже двадцать лет (включая ссылку), считают *невыгодным* идти на переговоры, приведу собственный пример – он по-своему показателен.

Предположим, рассуждал я, со мной поведут переговоры о досрочном освобождении. Минимум, что потребуют, – это "признать себя виновным и раскаяться". Следовательно, переговоры так и так завершатся провалом. Не следует видеть во мне "героя" – таковым я отнюдь не был. Просто я понимал, что, когда они увидят мое упрямство, может возникнуть соблазн *подтолкнуть* меня к "раскаянию". Подталкивают, известно, дополнительными репрессиями. Мне совсем не хотелось получать их. Поэтому из чистого самосохранения я сам вывел принцип "не бойся, не надейся, не проси" еще до того, как мне его процитировал в зоне Сергей Солдатов. Как только начинались "прельщающие беседы", я пускал в ход заранее приготовленную фразу: "Я глубоко убеж-

денный антисоветчик. На воле таким не был, и у вас в деле записано про меня другое, в зону я попал по ошибке ЛенУКГБ, но здесь, в Мордовии, я стал вашим убежденным врагом и советскую власть на дух не переношу". Когда я рассказывал об этом позже, после зоны, мне случалось встречать подозрения (чаще всего от зэков предыдущих поколений), якобы я хвастаюсь своим непокорством! Ничего нет ошибочнее. Я твердо рассчитал, что мое положение в зоне после такой фразы будет не хуже, как это кажется людям с нормальной логикой, а гораздо лучше – чего я, как нормальный человек, и добивался. Так и вышло на самом деле: в зоне меня никогда не наказывали без повода, относились с возможным в тех условиях уважением, и в ссылку отправили самую легкую, какую только можно. Это кажется странным, а между тем все так естественно, если встать на точку зрения гебистов. Своей фразой, своей позицией я не открывал органам ГБ ничего нового, что могло бы вызвать ко мне ненависть или злобу – например, если бы я был коммунистом и вдруг заявил такое... Напротив, они испытывали по отношению ко мне человеческую симпатию, что я – ясен, что с меня не надо "срывать маску", что самые недоброжелательные их выводы и заключения подтверждаются, и при любом визите инспектора из Саранска или гостя из Ленинграда (и те, и другие приезжали) все подготовленные выводы сразу видны – следовательно, мои опекуны в Мордовии работают добросовестно и начальство видит это. Карать меня? За что? За мои убеждения? За них я получил срок, уже наказан лагерем. Почему мне дали легкую ссылку? И тут – не без расчета. Если бы я с самого начала был борцом, меня бы наверняка закатали в Якутию. Но с самого начала я числился фигурой случайно "залетевшей", и репрессиями, как убедились, меня не испугаешь: от них я становлюсь убежденным антисоветчиком. А что если попробовать "пряник" – размягчить его домом, сытостью, близостью семьи?.. Это действительно не раз ломало освободившихся – почему бы не попробовать такую игру и со мной? Попробовали...

Моя линия "не бойся, не надейся, не проси" полностью себя оправдала.

А в заявлении Айрикяна отчетливо звучала – нет, не страх, страха там не было, но просьба и надежда – второй и третий компонент солженицынской формулы. Просьба и Надежда... Паруйр выбрал для себя иную линию, чем та, которую мы все принимали в зонах. Контакт. Компромисс. Уступка. Что делать? Я повздыхал... и, каюсь, но признаюсь – согласился. Одобрил его.

Мне-то хорошо упорствовать, малосрочнику. Шесть лет можно пересидеть. Но когда я встречал людей с сумасшедшей величины сроками – таких, как литовец Симутис, с его двадцатью пятью годами, как украинец Квецко с его двадцатью годами, или даже Паруйр с его десятью годами – не видел я греха, если человек мог купить себе сокращение срока ценой какой-то фальшивой бумажонки. По правде сказать, не вижу в том греха и до сих пор, хотя принципиальные зэки должны побить меня камнями за такое признание.

Все-таки я слегка поругал его за то заявление. Мне не понравилось, что он упомянул в качестве своих учителей Гайка и Степана. Про себя пиши что хочешь, а других не упоминай. Кто знает гебистов, как они могут использовать твою обмолвку.

– Им ничего не может быть! – горячился Паруйр. – За прошлые дела они уже получили и отбыли сроки. Сейчас вышли из движения, и ГБ знает об этом.

– Все равно. Не стоило, – упрямо твердил я. Уверен в этом до сих пор. Не потому, что для Степана или Гайка вышел какой-то вред, – его не было, пожалуй, и не могло быть, Паруйр никого не подвел, не повредил никому. А просто верно общее правило: не нужно называть гебистам чужие фамилии. Никогда не знаешь, как повернется колесо следствия или чужой судьбы.

По совести, я с самого начала не верил в успешный исход гебистской игры. Предупредил Паруйра, когда мы ви-

ток за витком заворачивали на лагерном кругу, но он, увлеченный новыми перспективами, не обратил внимания.

– То, что ты написал в заявлении, – не компрометирует тебя. Это не фонтан, но в пределах нормы политзэка. Паруйр, но им ведь покажется мало! Для них твое заявление – лишь первый шаг к капитуляции. А что ты можешь еще им обещать? Тут предел. Плохо, когда переговоры сразу начинаются с предельно возможной позиции. Некуда отступать.

– Нет. Нет, – уверенно твердил Айрикян. – Полковник понимает, что выжал из меня предел. Большего с меня просить не будут.

– Дай Бог...

Много привилегий, неслыханных для зэка, получил Паруйр в те месяцы, когда вел игру с Дротенко. По зоне он расхаживал этаким кронпринцем, которому все позволено. Полковник сильно дорожил операцией, которая в случае удачи, обратила бы на него внимание центрального начальства. Сужу по тому, что Дротенко специально приезжал на зону, чтобы выяснить отношение к "армянской игре"... Хейфеца: наверное, ему донесли, что мы часто беседуем и я "имею влияние" (как будто кто-то мог иметь влияние на Паруйра в принципиальных вопросах! Но мышлению гебистов свойственно делить всех людей на "начальников" и "подчиненных", и еще на "связников". Меня эти фантазеры всегда зачисляли в ранг начальников. Им не верилось, что такой молодой парень, как Айрикян, может сам разбираться во всех вопросах, и эти мистики искали за его спиной "направляющую руку", желательно, как обычно у них, – еврейскую. А еврей на зоне один – Хейфец. И Дротенко поехал говорить с "начальством" – с Хейфецем).

– Вам знакомо заявление Айрикяна в органы?

– Да. Он показывал мне копию.

– Как вы относитесь к этому документу?

– Если он принесет Айрикяну свободу – положительно.

Полковник был доволен.

(Зато потом, когда игра сорвалась, в этом опять увиде-

ли коварную еврейскую руку, и полковник строго выговаривал мне: "Вы обманули меня. Советовали Айрикяну совсем другое..." Ох, бедняги!)

Никак не могу вспомнить, когда именно дали Паруйру свидание с Леной в Саранском следизоляторе КГБ, – по-моему, все-таки в те же месяцы. Неслыханный дар: оставить их наедине в кабинете следователя на несколько часов. Обычно этакой милости удостаивали только и исключительно "стукачей", причем с большими заслугами. Ведь формально-юридически невеста – не родственница, а с неродственниками свидания запрещены. (Вернее, закона такого нет, но фактически с неродственниками свиданий никогда не дают.) Видно, сильно и сверхсильно хотелось полковнику узнать, что же на самом деле замыслил Айрикян, каковы его подлинные планы – без такой информации опасно для своей карьеры отправлять его в ереванское управление, где должны принять окончательное решение. Оставили молодых людей наедине – тут-то он, конечно, потеряет осторожность! – а сами прилипли к микрофонам... Горькое это было свидание, и хотя Паруйр рассказал мне о нем подробно, но, думается, писать об этой встрече молодых людей имеют право только они сами. Зато помню, какое отчаянное письмо прислала ему Лена после расставания! Оно прошло через цензуру, читалось чужими глазами, поэтому о нем напишу... Лена описывала любимому, как, слепая от слез, она не могла различить ни вагона, ни найти купе, как в поезде, увозившем ее из Саранска в Москву, подхватила и привела на место соседка и расспрашивала, и Лена рассказала, что у нее жених – политзаключенный, и муж соседки ужасно испугался, и все твердил: "Этого у нас не может быть! Этого у нас не может быть! Это потому, что он еврей!". – "Да он не еврей. Это я еврейка, а он армянин". Вот тут муж перепугался совсем до предела, непонятно почему... С того свидания привычная твердость "подруги бойца" оставила Лену. Когда Паруйр отправился на очередную отсидку в карцер, что и для него, и для всех нас казалось делом самым обыч-

ным, Лена прислала в зону совершенно отчаянное письмо: "Какая жуть! Ты лежишь сутками на цементном полу. На цементе твоя голова!" – что-то в таком трагическом роде. Лежать в карцере на полу – так же нормально для заключенного, как для обычного человека на матрасе, а под головой у него не цемент, во-первых, а дерево – это у бытовиков цемент, а у нас несколько лет назад голодовали, говорят, восемнадцать суток, но добились деревянного пола в карцерном бараке; а во-вторых, под голову опытный зэк сунет тапки, снятые с ног, а если повезет, – а такому ловкачу, как Айрикян, всегда везет, – даже обмотает их куском газеты, добытым из какого-нибудь зэковского тайника. Так что выходит почти подушка с наволочкой! Никаких трагедий – обыкновенный быт в обыкновенное время. Но Паруйр, по-моему, втайне гордился, что его девушка так из-за его карцера переживает, а еще больше радовался, что, значит, о его карцере стало известно на воле, дошло до "Хроники текущих событий", врагу щелчок, а ему, Айрикяну, удовольствие.

* * *

Лето семьдесят шестого года было сезоном "перемирия" между Айрикяном и администрацией. Но перемирие касалось только "общеполитических" вопросов. Когда требовалось защищать товарищей, Паруйр демонстративно отметал любые "договоренности".

Как раз тем летом Зиненко с диким ожесточением преследовал друга Паруйра – украинского поэта Василя Стуса. По моей оценке, Стус – лучший современный поэт сорокапятимиллионного народа Украины, человек, одаренный от Бога редкостным талантом. Таких людей единицами насчитывает каждое поколение. Но, как истинный поэт, Василь Стус оказался трудным для начальства заключенным – человеком гордым, бескомпромиссно-порядочным и прямым, как копье рыцаря. Представляете, как складывались

у такого человека отношения с начальником зоны Зиненко, который вообще первыми в очереди травил украинцев, своих земляков, чтобы понравиться руководству. За годы сидения в зоне Стус уже успел побывать в центральной больнице МВД в Ленинграде, где ему сделали резекцию двух третей желудка – "сделали зэковский желудок", как мрачно подшучивал Стус. С Айрикяном они стали близкими людьми: оба поэты, и хотя Айрикян не знал украинского языка, но гармонию стусовских стихов он улавливал на слух лучше, чем кто-либо из нас. (Написал эти строки и вспомнил: года через два Стус прислал фотографию из своей ссылки на Колыме, я показал ее Айрикяну, попавшему в нашу новую зону – об этом ниже, – и такое счастливо-блаженное лицо было у Паруйра, когда он рассматривал друга, и так гортанно-растроганно звучал его голос, когда протянул: "Васи-ль!". Любил он это чудо природы в образе худого, остриженного зэка в робе и сбитых набок кирзовых сапогах, называемое Стусом.) Летом семьдесят шестого года начальство задумало поиграть со Стусом в "доброту": поскольку у него вырезали большую часть желудка, постановило дать ему инвалидность второй группы. Ну, такую инвалидность выписывают обычно на больнице – Стусу предложили подготовиться к этапу. На больнице кормят лучше, чем в зоне, говорят, дают даже сало и масло (я не был, передаю по слухам), зато там запрещено читать. Сидеть две недели без чтения Стус не захотел, взял на этап сочинения Секста Эмпирика – томик пришел за день до этапа "Книга-почтой". Зиненко приказал книгу отобрать, Стуса скрутить, надеть наручники и отправить получать инвалидность. Взбешенный поэт написал заявление, в котором отказывался от гражданства страны, где возможны над ним такие издевательства. Едва его привезли в зону с больницы, как тут же отправили на 15 суток в карцер. Хоть стояло лето, но ночи были холодные, мы все мерзли в секции, укрываясь одеялом и сверх него бушлатом, и лежало нас в помещении сорок человек, а каждый человек – печка, нагре-

вающая воздух вокруг себя до 37 градусов... Каково же пришлось измученному болезнью поэту, с которого сняли нижнее белье (на лето "не положено"), которого через день кормили только хлебом и кипятком! Все политзаключенные зоны объявили акцию протеста – перешли на карцерную порцию во все дни заключения Стуса в ШИЗО в знак солидарности со Стусом. Зиненко вызвал Айрикяна, уговаривал его отказаться от акции: "Зачем вам это нужно в такой момент? О вас хорошо говорит полковник. Я знаю, это не вы, Айрикян, это все Хейфец, вы во всем подчинились вашему лагерному комиссару". Господи, как мы смеялись тогда с Паруйром! Если уж я к чему-то не способен, так это командовать, тем более прирожденным вожаком, "харизматическим лидером" типа Айрикяна... Психолог наш начальник! Когда Василь Стус вернулся в зону, Паруйр первым обнял друга и сообщил: "Мы голодовали за тебя". Все были тогда вместе: русские и украинцы, прибалты и еврей – так, как научились действовать в армянскую акцию.

* * *

Целую неделю вижу Паруйра напряженным, загадочным: что-то мучает его, и вижу, что хочет, но не может со мной поделиться. Наконец, намекает:

– Готовлю большую акцию. Все будет о'кей, если не подведет человек, которому ты веришь.

На что намекал Айрикян? О ком говорил? Я не спросил его. В меня, в мое поведение крепко вбит закон старых подпольщиков: даже самый доверенный человек должен знать о секретном деле только то, что он обязан знать для исполнения этого дела, – не больше этого. Не надо искать в этом законе обидного недоверия к "своим". Наоборот, так легче жить всем: и участникам дела, когда в случае провала они начинают вычислять точку, из которой могла утечь информация, и любому постороннему, когда после того же провала он начинает тщательно и покаянно исследовать

свои поступки: не сделал ли где-то ошибку, не проговорился ли случайно в обществе, в котором нельзя ничего говорить? Не знать ничего о том, про что знать необязательно для исполнения этого дела, – какое это дает человеку спокойствие в сложных ситуациях.

Поэтому я не спросил ни о чем Паруйра, хотя теперь, вспоминая задним крепким умом, понимаю: он ведь хотел со мной советоваться накануне решающего этапа. Самому ему нужно было мое мнение об одном человеке, но он тоже боялся нарушить неписаный закон подполья, тоже не знал – понадобился я ему для дела или нет?

Дня, по-моему, через два или три вызвали на вахту Паруйра Айрикяна, Василя Стуса и Владимира Кузюкина, того бывшего капитана Советской армии, который когда-то первым сообщил о прибытии "неизвестного армянина" на семнадцатую "а". Ну, вызвали, значит, дело есть, я опять не обратил внимания.

Еще через два дня кончили мы работу, гуляем по жилой зоне, солнце, помню, уже предзакатное, красное, вдруг Паруйра снова зовут на вахту. Выходит он оттуда примерно через полчаса, улыбка на губах странная, растерянная. Непохоже на него! Рассказывал мне какую-то чепуху, по-лагерному "фуфло", мол, вызвали его проверить посылку, отправленную домой, там случайно оказалось что-то неположенное... Я и слушать не стал, понимал, что он говорит это в расчете на уши стукачей, так и вертевшихся возле нас. Вообще я берег память в зоне для *дела* и запоминать легенду не стал – зато запомнил непонятно смятое лицо Айрикяна.

Минут через пятнадцать встречаю Кузюкина, с которым дружил. Лицо его буквально искажено, как от острой, разрывающей нутро боли.

– Что с тобой, Володя?

– Паруйр провалился. В его посылке нашли бумаги.

Ага, вот в чем дело...

– А ты чего так переживаешь?

– Так ведь при мне он отправлял посылку. Нас троих

на вахту к цензору вызывали: его, меня и Стуса. Опять пойдут разговоры, мол, это я заложил, Кузюкин стукач, Кузюкин уже продал Болонкина*, а теперь на Айрикяне зарабатывает помиловку.

– Не нервничай, Володя. Давай вместе разберемся. Тебе Айрикян говорил, что он собирается закладывать что-то в посылку?

– Нет, конечно. Зачем! Спроси его сам!

Мне спрашивать не нужно было: с какой стати вообще Айрикян будет доверять секретное дело чужому, в сущности, человеку?

– Думаю, в этом деле не стоит искать провокаторов. Ведь они знают, с кем имеют дело. Видимо, проверили посылку Паруйра во второй раз, уже после цензора, так, на всякий случай. Если ты не знал ничего, как ты мог продать Паруйра?

Логика моих рассуждений казалась мне безупречной. Кузюкин отошел успокоенный.

Уже позже я узнал и технику переправки документов за зону и подробности событий на вахте.

В те годы заключенным в советские лагеря разрешалось, во-первых, беспрепятственно выписывать любые научные книги по системе "Книга-почтой" (формально можно было выписывать и художественную литературу, но практически

---

* Болонкин Александр Александрович, математик, доктор физико-математических наук, доцент Московского Высшего Технического училища. Посажен в 1972 году на 6 лет лагерей и ссылки по делу московских "демократов" (редактировал и издавал подпольный журнал), незадолго до конца осужден еще на 3 года, а накануне конца второго срока – еще на 5 лет ссылки. В 1982 году выступил по московскому телевидению с "раскаянием" и этим купил себе ссылку вместо 15-летнего заключения. В нашей зоне он обвинял Кузюкина в том, что доверенные тому на хранение конспиративные записи оказались в руках полковника Дротенко. Кузюкин же утверждал, что он уничтожил эти записи, как об этом просил его сам Болонкин.

ее не присылали – "дефицит"). Чтобы в зонах не накапливалось слишком много имущества (книги – товар тяжелый, мешают передвигаться на этапах), начальство "рекомендовало" раз в году отправлять их домой: это разрешалось. Ящик с книгами во вскрытом состоянии сдавался заранее на проверку цензору, который проверял все отсылаемые книги у себя в кабинете.

Цензором на семнадцатой "а" служил господин с исключительно мерзкой физиономией этакого киношного предателя. Говорили, что это – бывший оперативник, подрабатывавший на пенсии восемьдесят разрешенных рублей в должности цензора. Был он въедлив и добросовестен: каждую страницу отсылаемых книг проверял на свет, каждый корешок исследовал досконально. Что у него имелось – то имелось. Но вот посылки проверены. Прошло несколько недель, пока цензор закончил свою работу. Теперь он вызывает заключенных, чьи посылки проверены, на вахту, и там зэки на его глазах заколачивают крышки посылок и обшивают их положенной белой тканью. Не самому же начальнику пачкать руки таким неинтеллектуальным трудом, как упаковка! Этот именно момент выбирали ловкие "шустряки" для подготовленной операции.

Впоследствии мне рассказали, что трюк был придуман сионистами. По инструкции цензору положено запускать заключенных по одному и не спускать с них глаз. Но, сделав главную работу, цензор позволял себе расслабиться: он вызывал к себе сразу двух или трех зэков, и они закрывали и обшивали посылки одновременно.

Сионистский трюк заключался в следующем: пока шла упаковка, кто-то из зэков задавал цензору вопрос или иным способом отвлекал его внимание. В эти секунды главный персонаж мгновенно доставал из-под робы спрятанный там пакет и засовывал его в посылку, после чего добросовестно обшивал ее на глазах у цензора. Рассказал мне про "технику" и историю переправки Валерий Граур. Много бумаг укатилось с зоны этим проверенным

методом до тех пор, пока гебисты не "застукали" Паруйра. Метод требовал от участников не только ловкости рук, но большой подготовки: как я узнал позже, Паруйру удалось склеить в один пакетик копии 150 заявлений на имя администрации зоны и прочих инстанций, отправлявшихся им во время заключения. (Склеить требовалось для того, чтобы при мгновенной переброске бумаг из-за пазухи в посылочный ящик листки не разлетались.) Собрать и скопировать эти заявления, сделать пакет так, чтобы его не углядели глазастые стукачи, постоянно держать его при себе, проскальзывая через два обязательных обыска каждый день (при проходе на работу и с работы) и через все возможные необязательные – а ведь Паруйр не знал, в какой именно день и час его "дернут" на вахту для упаковки – все он сумел преодолеть; Стус отвлек цензора вопросом, Айрикян совершенно незаметно для цензора сунул бумаги в посылку... Видел это только единственный свидетель – Кузюкин, который рядом с Паруйром паковал свои книги. Видеть – видел. Но выдал ли? Нельзя подозревать человека, не имея никаких доказательств.

На зоне немедленно, в тот же вечер, оказался вызванный "по тревоге" полковник Дротенко.

– Чего ты добиваешься, в самом деле? – пересказывал мне Паруйр его вопросы. – Мы обещали тебе освобождение, твоим – освобождение. Зачем ты начинаешь опасные комбинации в такой ответственный момент? Разве ты несерьезно относишься к тому, что сейчас происходит с тобой?

– ...я отвечаю: никаких антисоветских заявлений не отправил, только копии заявлений, которые все лежат у вас. В них описана моя жизнь. Я хотел сохранить память о ней для себя.

– А он мне: ты думаешь, мы – дураки? Ты считаешь, мы не в состоянии понять антисоветский подтекст такого вот заявления – и читает: "Прошу выписать в ПКТ положенные мне на сентябрь месяц продукты в количестве: пачка маргарина (двести граммов) – одна, повидло – пол-

кило, пачка чая (50 граммов) – две, конфеты (карамель) – 200 граммов. Всего на сумму 2 (два) рубля в месяц, Айрикян". Объясни, в конце концов, мне по-человечески, чего ты хочешь всем этим добиться? Разве тебе не нужна свобода?

А потом вызвали цензора...

...Здесь я на страницу отвлекусь от плавного течения сюжета и вернусь в прошлое, в тот вечер, когда Паруйр вышел с вахты. Даже провалившись, неутомимый тактик продумывал новые варианты, чтоб и из провала извлечь что-нибудь полезное. В тот вечер я участвовал в забавнейшей сценке: стоит Айрикян за бараком в окружении зэков и громко-громко рассказывает про свои дела. Вокруг, как положено, мельтешат стукачи. Только Владимир Кузюкин не рискует, чувствуя свое ложное положение, приблизиться к нам, стремительно бегает по кругу, недалеко от которого мы расположились. Айрикян заливается соловьем:

– Кого мне теперь жалко, это цензора! Такой хороший человек и ни за что страдает! Ни в чем он не виноват. Я знаю наше начальство: они подумают, что ему деньги дали. Честное слово, не давал я ему ни копейки! Он просто зазевался, не увидел. С каждым человеком бывает. Неужели его накажут?!

Паруйр говорил стопроцентную правду, но безусловно рассчитывал, что ему никто не поверит. Такой опытный конспиратор – и скажет правду на виду у всех, в присутствии стукачей? Нет. Заметает, хитрец, следы своих проделок. В первый раз я тогда наблюдал воочию, как легко у советской власти слететь с рычагов начальствования в грязь и презрение!

– ...Вызвали к полковнику цензора, – заливистый смешок прорывался в голосе Айрикяна! – Знаешь, мне показалось, он на локтях и коленях заполз в кабинет. Полковник спрашивает: "Сколько вам было заплачено Айрикяном за эту посылку?". Тот, как мертвый, не шевелится.

Слушатели, прости их, Господи, злорадствовали: давно ли спесивый цензор подергивал ниточки их нервов!

– ...Полковник ему снова: "Вы думаете нас обмануть? Мы не забыли, как Елена Сиротенко предлагала взятку вашей жене". Тот взвыл: "Но ведь моя жена сразу вам сообщила и не взяла денег". Дура, – откомментировал Паруйр, – сама на себя сообщила, дура. Полковник ехидно: "Значит, вы как муж решили исправить ошибку жены?". Цензор-то, цензор, я думал совсем сявка, а он человеком оказался. Вдруг пришел в себя, стал спорить с полковником: "Со мной можете поступать как угодно, но жену, пожалуйста, не трогайте. Она нисколько не виновата в моей служебной халатности". "Халатность, значит, просите?" – и тут же полковник уволил его с должности. Все-таки странно устроены люди: такой гаденыш, а показал себя рыцарем.

Увольнением цензора закончилась история с перехваченной посылкой Айрикяна. Слишком большая велась игра вокруг помиловок ноповцев, чтобы сорвать ее, пуская в ход дело о копиях заявлений. Его замяли, вроде и не было ничего, никакого "нарушения режима". Единственной жертвой (кроме, конечно, цензора) стал старый, проверенный способ переправки документов на волю. Вскоре заключенным запретили посылать свои книги домой: отныне начальство "рекомендовало" жертвовать их в лагерную библиотеку...

Что ж, лагерные мастера конспиративных дел начали обдумывать новые, более изящные возможности для нелегальных каналов.

ДЕТАЛИ К ПОРТРЕТУ

Еще несколько штрихов к образу Айрикяна. Возможно, они лишние, но почему-то запомнились. Вдруг пригодятся будущему историку армянского сопротивления.

Возвратились мы однажды летом с работы, а в зоне нас поджидает новичок — молоденький, белесый, несмотря на лето, безусый и худой, как заморенный лягушонок, Миша Карпенок. За год до прибытия в зону он дезертировал из батальона, куда его призвали, сразу после призыва, до принятия присяги; ушел он со станции Мерефа, что недалеко от Харькова, на Украине, и шел по Союзу двадцать два дня до турецкой границы. Власти объявили всесоюзный розыск, его дважды задерживала милиция, его фотографии находились на всех погранзаставах (впоследствии начальник заставы ему показывал эту фотографию, а также фотографию... Александра Солженицына! Интересно, неужели КГБ всерьез опасался, что писатель попытается нелегально проникнуть через полосу погранпатруля?). У Мишельчика не было в кармане ни копейки (откуда у солдатика деньги) — тем не менее, он добрался до границы, благополучно пересек ее и сдался турецким властям. Турки, видать, не поверили, что простой и на вид немудреный солдатик преодолел неприступную, согласно всем кегебистским легендам, советскую границу, и поручили наблюдение за ним отцу и сыну Бразинскасам, знаменитым воздушным пиратам, угнавшим советский авиалайнер и убившим при этом стюардессу. Не сомневаюсь, что неуклюжий и наивно-честный Мишельчик не должен был понравиться людям такого склада, как агрессивные Бразинскасы. В придачу он категорически не соглашался

перейти в мусульманство, на что его усиленно склоняли турки. И правительство Демиреля выдало его обратно советским властям, несмотря на протесты Карпенка на границе (эти протесты были зафиксированы в его приговоре как сильно отягчающее обстоятельство). За дезертирство его судить не могли – он еще не принес присяги, за незаконный переход границы не хотели – слишком мал срок по закону в глазах следствия, поэтому вломили восемь лет по "измене родине", хотя даже следователи понимали, что если бы он совершил такую "измену", не видать бы им его даже в бинокли...

Сидим мы втроем с ним и Паруйром на солнышке, греемся после шитья рукавиц, рассказывает Мишельчик про свое следствие: любимый рассказ каждого лагерника...

– Вызывают в какой-то особый кабинет. Сидит там какой-то тип, на следователя непохож. Стал меня расспрашивать про Бразинскасов: где они находятся, как выглядят, во что одеты. Вдруг спрашивает: "Бассейна для купания там поблизости нет?". Нет, отвечаю, а сам думаю, зачем ему знать про тамошний бассейн... Зазвонил телефон, он привстал и не пошел, а будто скользнул к телефону. Как змея. И тут я понял, что передо мной профессионал-убийца. Его собираются посылать убивать Бразинскасов. Про место теракта спрашивал меня. Я в турецких газетах читал, что гебисты умеют убивать в бассейнах...

...Когда, закончив рассказ, Мишельчик оставляет нас, Паруйр сидит, задумавшись.

– О чем ты, Паруйр?

– Как странно умер сын Корвалана...

...Сын генерального секретаря компартии Чили, о котором упоминалось выше и за судьбой которого почему-то наблюдал Айрикян, незадолго до этого разговора скоропостижно скончался на болгарском курорте, где он отдыхал после заключения.

– Может, убрали... – продолжает Паруйр.

– Зачем?

– Помнишь, в "За рубежом" печатали заметку, мол, клевета, что Чили покупает танки через Болгарию.

– Угу...

– Через Болгарию, – повторяет Паруйр. – Что-нибудь мог узнать на месте. Парень молодой, к "делишкам" папашиным еще не привык, мог поднять шум. Предупредили – не понял. Пришлось убирать.

– ...я вот над чем думаю, – продолжает Паруйр. – Если в ГБ работает группа убийц – как она организована? Наверное, выделена в особое подразделение – чтоб никто даже в штабе про нее не знал. Интересно, на каком уровне их начальник контактирует с руководством? Он, наверное, получает задания от самого Андропова или от Цвигуна.

Вот потому этот разговор и запомнился: какое странное мышление у Паруйра. Мне, например, в голову не забредала мысль: как гебисты организованы в тергруппу, а Паруйра интересует технология управления, система принятия решений и передачи их исполнителям.

– Потом, как их тренировать, как обучать... Василь рассказывал: на Украине очень странно погибали диссиденты. Какой-то композитор был найден повешенным в лесу... У нас в Армении тоже...

Он сделал долгую паузу, потом решился:

– У нас имелся первоклассный поэт. Паруйр Сервак. Из молодого поколения самый первый. Вроде как Евтушенко в Москве. Странно погиб – в автомобильной катастрофе.

– Почему странно? В автокатастрофах многие гибнут.

– Особенно у нас в горах. Поэтому я раньше ничего такого не подозревал... А сегодня, после разговора с Карпенком, подумал... Ведь Сервак незадолго до гибели вступил в НОП. Судить такого человека как ноповца они не хотели – это точно. Могли убрать...

В тот день я воспринял рассказ Паруйра о его тезке-поэте как молодежно-романтическое сочинение. Таинственно убивать поэта в автокатастрофе, в наше-то время, – зачем такие сложности? Зачем такие драмы вокруг дела, которое

можно решить гораздо проще и без риска? Но года через два, когда в Лондоне укололи отравленным кончиком зонтика болгарского журналиста-эмигранта, я вспомнил: врачи в доброй старой Англии тоже допустили кончину своего пациента только потому, что не смогли поверить: в наше-то время, в Лондоне, отравление с помощью зонтика – ну кому такое может привидеться! Фантазия славянского воображения. А уже в трупе нашли капсулу с ядом, введенную через конец зонта... Может, и убийства на Украине, и гибель Паруйра Сервака тоже объясняются не с помощью здравого смысла: по другую сторону проволоки, кстати сказать, видишь, что люди, занятые *той* работой, далеки от здравого смысла.

– ...им же нужно где-то тренировать убийц, устраивать экзамены, – продолжал Паруйр. – Анализируют доклады местных управлений, подальше от Москвы, выбирают мишень, поручают исполнить кому-то... Местные гебисты не знают ничего, это делают люди приезжие, люди центрального подчинения.

И снова ушел в себя, вспоминая все обстоятельства, прикидывая возможные варианты гибели поэта.

Я все еще не был убежден.

– Паруйр, но ведь у вас в НОП не имелось провокаторов. Откуда они могли узнать, что Сервак в контакте в НОП?

– У нас-то не имелось. Но, может быть, их информатор сидел в кругу Сервака?

* * *

1 августа 1976 года исполнился год со дня подписания Хельсинкских соглашений 35 государств Европы и Северной Америки.

Политические заключенные искали в печати каждую фразу, каждую мелочь, посвященную ходу переговоров. Было ясно: невозможно заключить серьезное соглашение о "детанте" между Западом и Востоком, не затронув в той

или иной мере судьбу тех, кто осужден на Востоке за сочувствие Западу и за желание именно того "детанта", который объявлялся отныне целью всех государств и правительств. Если Хельсинкская декларация становилась своеобразной Конституцией Европы, СССР должен был выпустить из тюрем и лагерей тех, кто сидел там только за то, что исповедовал принципы этой Конституции.

Хельсинкское соглашение, в той форме, на которой настаивал Запад, давало правовую основу для амнистии советских политзаключенных и легального продолжения их деятельности.

Именно поэтому СССР с феноменальным упорством сопротивлялся соглашению по так называемой "третьей корзине" вопросов – по проблемам прав человека. В эти дни правительство СССР занимало честную позицию: оно желало уступить как можно меньше, практически ничего, если возможно, не уступать, и получить свои выгоды в соглашениях по всем остальным "корзинам". Зэки понимали: стороны ищут компромисс. Мы пытались понять: граница этого компромисса пройдет между нами и возможной свободой или же свобода окажется по эту сторону, очерченная и отсеченная для нас межгосударственным соглашением.

Вот почему таким печальным оказался на зоне день, когда в журнале "За рубежом" мы прочитали: "третья корзина" согласована раньше всех остальных вопросов.

Логика советского руководства была зэкам абсолютно ясна: раздел о правах человека воспринимался им как неприятный и, более того, как неприемлемый элемент в системе соглашений, в остальном казавшихся выгодными, перспективными и престижными. Когда выяснилось, что совсем отбиться от этого раздела нельзя, решили обойти его так, как всегда обходят невыгодную для себя часть выгодного в целом соглашения: найти какое-то толкование, которое позволит не выполнять подписанные пункты самим, но требовать их выполнения от партнера.

Я вовсе не хочу злопыхательски обвинять Политбюро

ЦК КПСС в сознательном обмане западных руководителей. Это было бы нечестно. Руководители СССР, конечно, заранее знали, что никаких серьезных соглашений по правам человека они выполнять не будут, просто потому, что не могут это сделать. Дипломаты СССР боролись, как могли, против "так называемых вопросов", они возражали против каждого возможного слова о так называемых "правах", они цеплялись за каждый мыслимый и немыслимый крючок. Несколько лет сопротивлялись! По-моему, старички в Москве уступили только тогда, когда поняли: вовсе не альтруизм и сочувствие советским борцам за права человека заставляли западных партнеров настаивать на "третьей корзине". С их точки зрения, Запад давал Москве громадный политический заем, следствием которого становились займы товарные и денежные. Но каждый банкир, вступая в сделку, хочет получить гарантию, что заем ему вернут с процентами. Честное слово одиннадцати пенсионеров со Старой площади в Москве не могло казаться достаточной гарантией. Инвестиция в такое крупное дело, как "детант", естественно, требовала определенной "открытости" общества на Востоке, при котором Запад получал бы информацию, как именно расходуются его займы и каковы шансы на их возврат (как теперь известно, из чисто политических соображений Запад отступил от этого правила и дал займы Польше и Румынии, чтобы поощрить их отход от железной просоветской линии. Через несколько лет он столкнулся с банкротством своих восточных должников – не в переносном, а в прямом смысле). Старики поняли, что Запад не дурит, а на самом деле хочет здравых и серьезных для себя гарантий и, следовательно, не отступит. Что же делать? Отказываться от выгодного договора только из-за вопроса о гарантиях казалось безумием. Ну вот и решили подписать, а потом найти зацепки, чтобы выгодные для себя статьи соглашения реализовывать, а с остальными как-то уладить втихую... Так мы рассуждали тогда, и признаком для нас служило именно то, что "третья корзина" по правам человека оказалась подпи-

санной первой. Это логично: если этот раздел соглашения все равно решено не выполнять, зачем торговаться из-за формулировок?

Не буду преувеличивать и приукрашивать нашу тогдашнюю проницательность. Если честно, даже мы не предполагали, что московские старцы *вообще ничего* не собираются выполнять из Хельсинкских соглашений. Наоборот, думали, что они поведут себя хитрее: устроят некие косметические мероприятия, вовсе не угрожающие основам режима, но способные внушить Западу доверие, якобы "лед тронулся", но "не все же сразу, погодить надо" и прочее.

Я среди своих особенно верил в это. В конце концов, Ленин и Сталин, политические игроки с размахом, воображением и уверенностью в своих силах, по-моему, избрали бы именно такой вариант выигрыша против Запада (который вдобавок очень хотел, чтоб у него наконец кто-то выиграл). Но как выяснилось вскоре, в Кремле побоялись "раскачивать лодку во время бури". Теперь я думаю, что, может быть, со своей колокольни там видели и понимали куда больше меня и разумно боялись рисковать, зная свои силы и ненадежность общественной опоры. Кроме того, я, видимо, не учитывал старческий консерватизм, боязнь людей в определенном возрасте использовать новый инструментарий в политике.

Все это длинное отступление понадобилось, чтобы ввести читателя в курс наших споров с Паруйром, когда готовилась акция ко дню подписания соглашений в Хельсинки.

Айрикян, как и Стус, решил не мудрить, а провести обычную голодовку протеста с обыкновенными требованиями: легализации НОП, референдума и проч. Я же по натуре не боец, а человек кабинетный, книжник и учитель, и больше склонен убеждать, чем требовать. Вот и в тот раз попробовал убедить советское руководство избрать более разумную и, как мне казалось, более выгодную и для него, и для всех нас политику.

В своем заявлении я не протестовал, не угрожал, не тре-

бовал ни реформ, ни референдумов: зачем требовать то, что для адресата заведомо неприемлемо. Просто предложил начать осуществление Хельсинкских соглашений с проведения политической амнистии в СССР. Сколько всего политзаключенных в СССР? – спрашивал я. В политических лагерях всего несколько сотен, и если приплюсовать всех заключенных в уголовные лагеря по политическим обвинениям (это, в первую очередь, рабочие), и еще приплюсовать узников психушек – то две-три тысячи. Вряд ли больше. Теперь следующий вопрос: сколько из них реально опасно для советской власти? Несколько десятков, от силы две-три сотни. Остальная масса заключена в зоны по разным причинам ("для наказания", например), но отнюдь не в силу особой социальной опасности для КПСС. Много в политлагерях сидит военных преступников, то есть людей по своей природе советских, просто во время войны несколько запутавшихся в вопросе о том, кто именно является законной властью; есть пожилые люди, сломленные страхом, да и молодые, попавшие в оппозицию случайно и напуганные заключением навсегда. Но из сотни подлинно опасных для власти людей половина согласится на эмиграцию, особенно на выдворение, если власть захочет обезвредить последствия амнистии таким способом. Ведь включиться в нормальную жизнь и работу им все равно не позволят, и они понимают это. На воле в СССР останется, следовательно, лишь ничтожная горсточка опасных для коммунистов амнистированных, скованная постоянным надзором. Могут ли они представлять серьезную опасность для общественного и государственного строя СССР? Я писал тогда совершенного искренне и до сих пор думаю так же. Политические же выгоды для советского руководства получились бы колоссальные. Немедленная после Хельсинки политическая амнистия убедила бы мир, что в Союзе относятся к "детанту" всерьез, обеспечила бы доверие к нему в кругах западного, и даже советского общества и, что особенно важно для КПСС, в кругах коммунистических (мы внимательно анализировали прессу

и заметили, что в Берлинском соглашении компартий Европы КПСС дала обещание своим "коллегам по идеологии" соблюдать права человека: таким образом, соблюдение "третьей корзины" становилось не только государственным, но и партийным обязательством, а это в условиях СССР гораздо серьезнее и важнее весит). Но большее доверие общественности сулило Союзу существенные, сугубо "материальные" выгоды: наилучшие условия на переговорах о разоружении, что позволяло добиться военного превосходства без особых затрат, и более выгодные условия кредитов и поставок и прочее. Соотношение убытков и выгод от амнистии для политических заключенных казалось мне совершенно ясным в пользу выгод – как для властей, которым мы противостояли, так и для моих товарищей, судьба которых меня, естественно, только и заботила.

Адресата для своего заявления я выбрал необычного. В те дни правительство образовало некий правительственный комитет по осуществлению Хельсинкских соглашений (о нем потом начисто забыли, настолько правительственный комитет заслонили диссидентские "группы Хельсинки"). Во главе был поставлен некий деятель среднего правительственного ранга по фамилии Шитиков. Вот на его имя и было адресовано мое заявление.

Написав его, я позвал на улицу Паруйра и дал ему прочитать сочинение.

Он посмотрел, подумал, пожевал красивыми сочными губами.

– Ты всерьез думаешь, что это прочтет кто-нибудь?

– Рассчитываю на адресата, – объяснил я. – Нормальные чиновники читать не стали бы, но у него – новая контора, только организуется. Как всякая контора, она должна хотя бы симулировать деятельность. Чем больше она прокрутит "мероприятий", тем больше шансов у ее босса вырасти, оставить кресло и занять что-то более перспективное. Но он советский деятель, значит, идей, что именно надо делать, у него дефицит – тем более по Хельсинкским соглаше-

ниям. На одном представительстве и фуфле карьеру не выстроишь – надо и что-то серьезное провернуть. Приходит мое заявление с конкретным предложением: провести политическую амнистию. Есть обоснование, есть статистика. Начальники привыкли в старые годы питаться мыслями зэков, выдавая их за свои, это ведь тоже был способ грабежа населения. Шитиков может заинтересоваться и подать идею амнистии наверх в виде своего предложения. Как понимаешь, об авторстве я спорить не буду. Вот мой расчет.

– Ну, а дальше? – спросил Паруйр. – Кто будет решать?

– Политбюро.

– Средний возраст – семьдесят лет. Это выше среднего возраста смертности в Союзе, там сидят живые трупы, – этот неожиданный образ поразил меня! – Живые трупы правят, и они ни разу не видели и не слышали за семьдесят лет, что возможна политическая амнистия. Миша, для старого человека его жизненный опыт – это все! Нет у них в опыте жизни амнистии – ее и дальше не будет.

– Ты думаешь? Тогда, может быть, стоит в заявлении добавить, что и Ленин, и Сталин до двадцать восьмого года иногда проводили амнистии политикам? Я заметил, что эти старперы присматриваются к опыту предшественников. Ведь они не знали такой формы репрессии, как выдворение за границу, а кто-то из ученых котов напомнил им, что Ленин практиковал такую штуку с опасными идеологами, вроде Мартова или Бердяева, а Сталин – с Троцким, и, смотри – они решились с Солженицыным.

Опять задумался Паруйр.

– Знаешь, что-то в этом есть, – сказал очень решительно. – И поэтому лучше бы ты свое время тратил на что-то более полезное, чем сочинять для них бумаги.

Его вывод казался настолько алогичным, что я ничего не понял.

– Почему?!

– Потому что твое заявление вряд ли выйдет с зоны, а уж тем более никуда не уйдет за пределы управления.

– Но в нем нет ни единого резкого слова, к которому они могут придраться. Нет ничего против администрации или ГБ. Какое им дело до Хельсинкских соглашений? Это решают их хозяева.

Паруйр стал учить меня, как семилетнего мальчика – на примерах.

– Ты после приговора кому писал?

– Министру культуры Демичеву. Председателю Союза писателей Маркову.

– Так. Письма отправили?

– Мой адвокат видел их подшитыми в дело.

– Я знаю, ты рассказывал. Знаешь, что по закону они обязаны отправлять любое твое письмо в любую советскую инстанцию, если там нет, – тут Паруйр процитировал. Он у нас законник и все инструкции и порядки знает, – если там нет оскорбительных или нецензурных выражений. У тебя таких выражений не могло быть. А все-таки письма не отправили. Правда, что Демичев – бывший кегебешник? Мне рассказывал Солдатов.

Я не знал этого.

– Вот видишь, бывшему гебешнику и то не отправили твоего заявления. А почему? Потому что хоть и гебешник, но сидит в кресле министра культуры, у него могут быть свои соображения, он может захотеть пересмотреть *их* решение. Да наплюют они на все законы, но такого не допустят! Миша, это тебя волнует политика, государственные интересы, международное положение, а у них – жизнь. Вот ты убедительно написал. Вдруг тебя кто-то послушает! И произойдет амнистия для политиков. А что будет делаться в Мордовии? Ну, с МВД проще, их не уволят, просто в наши зоны бытовиков посадят, но здешним не хочется и этого: с нами легче работать и легче сдавать план по рукавицам.

Паруйр вдруг отвлекся, показал мне на старика-двадцатипятилетника, бродившего неподалеку от нас.

– Вот этот рассказывал, что в пятьдесят седьмом году была для них, для карателей, подготовлена амнистия. Тогда

специально поехала группа эмведистов в Москву, стала доказывать, что производство остановится без политиков. А эти идиоты-каратели старались, две-три нормы давали, чтобы коммунисты оценили, какие они хорошие, как раскаиваются и готовы для них работать. Ну, эмведисты показали в Москве, какая у военных преступников норма выработки, тем и отменили амнистию. Не захотели с ними расставаться. Где еще таких работников найдешь. А ты думаешь, с нами захотят расставаться? – он засмеялся. – А КГБ куда? Штаты как переставлять? Мордовское управление сразу теряет в Комитете значение. За службу в "особо опасных условиях" никто не будет давать внеочередные чины, старшие лейтенанты нескоро станут капитанами. Ты хочешь, чтоб они переслали твое заявление! Если б ты писал чушь или ругался, как Петро Сартаков, может, и отправили бы "кремлевским плутократам" (это было любимое выражение нашего приятеля, заключенного из рабочих Петра Сартакова – М.Х.). Ты затронул их жизнь, их службу. Лучше бы писал что-нибудь стандартное и проголодовал сутки для порядка.

...Через два или три дня, не помню точно, меня вызвал в штаб капитан Зиненко.

– Отправляли, Михаил Рувимович, заявление на имя товарища Шитикова?

– Да, отправлял.

– Ваше заявление конфисковано как содержащее оскорбительные и нецензурные выражения.

– Но я вообще никогда не употребляю таких выражений.

– Заметил, Михаил Рувимович. Заметил, что вы оформляли свое заявление так, чтобы не подпасть под наказание. Мы вас и не наказываем. А заявление ваше конфисковано. Можете быть свободны.

Воспитанный Айрикяном, я не стал спорить...

Этот эпизод так запомнился, потому что Паруйр моложе меня лет на 15, а вот – именно он открывал глаза на такие факты жизни, которых я не сумел заметить, хоть и не сле-

пой, и читал немало умных и обширных книжек. До тех пор думал, что партийные политики решают все, а КГБ – это так, обслуга, аппарат, инструментарий в работе, пусть привилегированный и обласканный деньгами и почетом. Я думал, что во внутренней жизни страны КГБ – прежде всего репрессивный орган. Оказалось, это еще главный канал сбора информации для политиков и контрольный аппарат для наблюдения за другими каналами информации. Но хозяин информации рано или поздно становится хозяином над своим хозяином. Кастовые интересы гебистов определяют, что будут знать, а что не будут знать те, кто якобы ими командует, и следовательно, какое решение хозяева примут. Всему этому научил меня впервые Паруйр Айрикян.

– У ЦК есть другие каналы информации, – пробовал я сопротивляться его логике.

– Любые другие каналы КГБ будет контролировать как аппарат репрессий, – поясняет Паруйр. – ГБ боятся, поэтому гебистам будут услуживать даже те, кто формально от них независим. Все в их руках.

Так учил меня Паруйр Айрикян.

* * *

Не помню, когда точно увезли Паруйра на больницу. Он вовсе не был болен. Мы понимали, что больница выбрана гебистами как удобное место для продолжения переговоров. Кроме того, после истории с провалившейся посылкой его должны основательно "прощупать", а больница, как всякое место, куда собирают зэков из разных зон (неважно, карцер это или больничная палата), должна быть в изобилии оборудована всяким инструментарием по подслушиванию. Так мы и рассчитали с Айрикяном причину его отъезда.

Этапировался он не один. Вызвали вдруг Кузюкина и тоже предложили готовиться в дорогу.

– Володя, – удивился я, – а тебя за какие заслуги? Тоже на помиловку?

– Отказано, – сплюнул он. – Жена подавала, ей написали: отказано. Нет, у меня регулярная проверка здоровья. В прошлом году ездил с гастритом, подлечили, теперь снова проверяют. Ты еще новенький на зоне. Думаешь, в больницу только больных, что ли, везут? В зоне человеку отпуск не полагается, а сидят тут люди по десять, пятнадцать лет. Они бы без отпуска давно бы на работе загнулись. Начальство иногда посылает отдохнуть, подкормиться, это вместо отпуска, и зэк снова им вкалывает на сто пятьдесят процентов. Тут, Рувимыч, НИИ все рассчитали. Подожди, и тебя скоро повезут...

Ну, ладно. Понимаю, что еще зеленый в зоне и самых простых вещей здесь не знаю.

А недели через полторы возник на зоне Айрикян.

Именно возник.

Уже после ужина, минут, наверное, за десять до отбоя подходит ко мне влюбленный в Айрикяна его тогдашний приятель и поклонник Виталий Лысенко и тихо, на ухо шепчет:

– Паруйра привезли.

Примечание для читателя, незнакомого с лагерной жизнью: в зоне вся жизнь подчинена, как правило, строго определенному распорядку. Мы точно знаем, в какие дни прибывают и убывают этапы, в какие часы подъезжает этапный "воронок" к воротам лагеря, сколько времени новичка должны держать на зоне до запуска в нее и проч. Любое отклонение от заведенного режима, хотя оно и возможно, сразу привлекает к себе внимание. Паруйр приехал не в этапный день и тем более не в этапный час – накануне всеобщего, кроме караулов, отхода ко сну!

Буквально один круг я успел пройти с Айрикяном до команды "отбой".

– Как ты попал в зону?

Сверкнули в ухмылке белые зубы:

– Гебисты привезли на легковой машине. У меня свидание с отцом.

...Отходя ко сну в тот вечер, я думал, какая все-таки удивительная вещь – прочная лагерная репутация. Как бы отнеслись политзэки к товарищу, который излишне часто общается с гебистами, да еще ездит с ними на машине вместо положенного "автозака"? В лучшем случае, при нем перестали бы разговаривать. Не "страха ради" – наоборот, страха в зоне немного, все равно сидим, и "что в лагере хорошо, свободы тут от пуза" – заметил солженицынский Иван Денисович, – а из нежелания давать "сукам" зарабатывать их сучьи льготы, ну и тренируя осторожность – просто для навыка. То, что Паруйра привезли вне этапа в зону на легковой машине, несомненно означало одно: его решили скомпрометировать. Привязать к себе таким обходным маневром. Неглупо, надо признать, придумано – но не для Паруйра. Его, как жены Цезаря, не касались подозрения даже самых маниакально-подозрительных личностей (встречаются и такие в зэковской среде). Вот я, типичный средний заключенный, рассуждал так: если гебисты возят Айрикяна на своей машине из зоны в зону, значит, он обвел их, использовал и еще посмеивается. Только так – и никак иначе.

Наутро делились новостями.

– Паруйр, без тебя у нас гости из Еревана были. Армянские гебисты.

– Знаю. Ко мне на больничку они тоже приезжали.

...Наверное, трое молодых армян в штатском, которые несколько дней назад вызывали меня на "беседу" (видимо, им доложили, что я "близок" и "имею влияние"), остались довольны видом нашей зоны. Внешне она, правда, выглядит респектабельно: аккуратно побеленные бараки, клумбы с цветами, в центре – аллея с подстриженными деревьями. Когда люди живут на тесном "пятачке", десятилетиями не покидая его, они, естественно, стремятся украсить свое жилье. А основной контингент на нашей зоне составляли крестьяне, которые умели ухаживать за землей. Цветы

разводить им можно, овощи, огурцы и укроп – нельзя, чтобы – ни-ни – не попала на стол заключенного лишняя кроха "неположенных" витаминов.

И всюду висят интеллигентные плакаты: например, в швейном цеху на главной стене, как раз перед лицами заслуженного учителя республики Михаила Копотуна, доцента-кибернетика Александра Болонкина, студента-филолога Попадюка, старательно шьющих на стареньких машинках белые рукавицы, висит полотно с мудрыми словами великого писателя А.М.Горького: "Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, преображается до творчества".

Вот и армянским гебистам у нас явно понравилось: укроп, тайно посаженный среди цветов на клумбах, уже не цвел (его собственными руками выдергал обнаруживший первым полковник МВД, я сам наблюдал, как он сгибал с трудом более чем полный стан, истребляя неположенное растение в предвидении их посещения) – так что на зоне царил порядок, и в секции чистота – пунас Пятрас Паулайтис, богослов и дипломат, наблюдает, чтоб было "без пылинки".

– Пожить бы им у нас для опыта, – желает Айрикян счастья армянским гостям.

– А у тебя что за новости, Паруйр?

– Сообщили из Перми: Баграт встал на Статус. Его увезли во Владимирскую крытку.

...Снова встает перед автором проблема: отвлекаться ли от плавного течения сюжета, забегать ли вперед? Наверное, разумно забежать, ведь читатели и без его книги знают, что операция "Помиловка" сорвалась и Паруйр остался в зоне досиживать срок, поэтому – что уж тут мне секреты с вами разыгрывать.

Почему сорвалась игра вокруг помилования? Думаю, ее исход, несмотря на самые тонкие ходы полковника Дротенко, был решен в тот день, когда Паруйр узнал о переходе на Статус Баграта Шахвердяна.

Повторяю, Айрикян всерьез относился к переговорам и условиям КГБ, иначе он бы не отдал приказа Азату и Ашоту, своим подчиненным, вступить в эту игру. Он мог привести ее к успешному концу – но только последним из заключенных ноповцев. Капитан уходит с корабля последним, когда понимает, что его уже не спасти; но если на тонущем судне остался хоть кто-то, капитан остается с ним. Вдруг секретарь Национальной Объединенной партии узнал, что один из его бойцов отказался повиноваться приказу. Баграт Шахвердян, сидевший в далекой пермской зоне, перешел на Статус политзаключенного, то есть отказался выполнять все требования лагерного советского режима и был посажен за это во Владимирскую тюрьму. Вскоре выяснилось, что еще один боец НОП не выполнил приказа о выходе из заключения на волю: Размик Маркосян с девятнадцатой зоны. "Вы можете договориться с врагом, это ваше право, – как бы показали они товарищам, – а мы свой срок досидим без компромисса". Паруйр и сам колебался, переступить грань или оставить все как есть. Поступок Баграта и Размика перетянул дрожавшую в нестойком равновесии чашу. Если ноповцы остаются сидеть, Айрикян тоже будет сидеть. Иначе какой же он для них командир.

Если я кому-нибудь завидую из тех, кто был в заключении, то только соседям и друзьям Баграта Шахвердяна. Мне не довелось встречать его на лагерных этапах, и только оказавшись в ссылке в Казахстане, вдруг начал получать от Шахвердяна письма. Баграта сослали в соседнюю область, каких-нибудь две тысячи километров от меня, по тамошним масштабам – ближе некуда. Читатель, наверное, заметил, что мне нравился Паруйр Айрикян, так вот – если о человеке судить только по письмам, показалось, что Баграт – еще лучше! На расстоянии Баграт ощущался тем, кого в старину называли "благородным", наследником и хранителем культуры древнего народа. Сочинял Баграт стихи и песни, чувствовал вкус и слова и звука, но больше всего ценил красоту человеческих отношений. Жилось ему в ссылке – по изредка вы-

рывавшимся деталям обстановки – тяжело, но никогда не вырывалось укора судьбе или людям – самоотверженно, с достоинством не только борца, но и философа переносил он голод, насмешки, бюрократические нелепости милицейских чиновников. Единственную жалобу услышал я от него на заграничных земляков-армян: "Почему мне пишут в ссылку и стараются помочь граждане из разных стран – из Германии, Швейцарии, Австрии – и нет только писем от зарубежных армян? Почему чужие люди помнят армянских патриотов, а армяне про нас забыли? Разве мы не страдаем за нашу родину?". Я старался успокоить его, объясняя, что, наверное, патриоты Армении за рубежом увлеклись охотой на турецких дипломатов (как раз накануне об этих акциях передавало зарубежное радио). "Ты понимаешь, Михаил, что у меня в душе, когда вспоминаю турецкий геноцид против нашего народа, – писал он в ответном письме. – Но я против убийств турок. Невозможно отомстить за кровь невинных, убивая других невинных".

Такой человек не осуждал своих товарищей, готовых ценой компромисса – то есть заполненного словесными пируэтами листа бумаги, – выйти на свободу к своим семьям, оборвав немыслимые сроки (Паруйру, например, предстояло отсидеть *половину жизни* к моменту предстоящего ему в будущем освобождения). Но сам он не хотел милости от врага. И чтобы прервать утомительные уговоры (гебисты ужасно липучие, когда им чего-то надо, и отодрать их – это требует не только больших сил, но и приличного времени), тотально отказался выполнять все лагерные порядки (это и называется – "перейти на Статус политзаключенного СССР"). Что с таким ослушником делать администрации? Она не может долго держать в зоне зэка, демонстративно нарушающего дисциплину. Баграт *вынудил* начальство отправить его в "крытку" (Владимирскую тюрьму), а это срывало возможность досрочного освобождения. И – неожиданно для себя, я думаю, и он, и Размик Маркосян заставили Айрикяна избрать ту же дорогу.

Ну вот, теперь можно вернуться обратно к сюжету, к утру, наступившему после этапирования Паруйра из больницы на гебистской легковушке.

– Почему привезли так срочно?

– Думаю, на больничке в комнате свиданий нет подслушек – там ведь нашим свидания никогда не давали. Отец приезжает, а им хочется узнать, о чем будем говорить. Он приедет сюда до этапного дня, вот меня и подвезли.

Сделал паузу.

– Я за эти дни на больничке не раз с начальниками катался на машине. Интересно это... Мне передали продукты из дому. Армянские. Сегодня поедим. Даже икра есть. Но икру я для Кузюкина поберегу.

– Как он на больнице?

– Подружились с ним. Думаю, скоро вернется. С первым этапом.

Уверенно ответил Паруйр... Нехорошая интонация прорезывалась в его голосе, худо стало у меня на душе, тяжело. Нравился мне Кузюкин, верил я ему, несмотря на предупреждения доцента Болонкина. Что Болонкин! Он человек кабинетный, в людях не разбирается, доверчив – его могли запугать гебисты. Умный, проницательный, с хорошими рабочими руками, Кузюкин казался мне стоящим человеком.

Зато Паруйр недолюбливал его, особенно после случая с посылкой. Инструменталка Кузюкина была своеобразным клубом, где собирались зэки в "перекур" поболтать, попить чайку, и Айрикян постоянно задевал, дразнил, подкусывал хозяина. Иногда прямо оскорблял его. И вот теперь, после "больнички", стал говорить про Володю: "мы подружились", "икру для него берегу" – и в то же время в гортанных звуках проскальзывало что-то дерзкое, игривое, залихватски веселое, причем веселье какое-то нехорошее, что ли.

– Да разве это новости, – внезапно прервал Паруйр мои думы. – Пойдем на круг, настоящую новость расскажу...

– Когда наш гебист вез меня на машине в первый раз, спросил: почему ты упираешься? Что мешает идти нам навстречу? Я ответил правду: вам не верю. Он сказал: знаю. Мы так и думали. Теперь смотри, я покажу тебе кое-что. Остановил машину. Достал из кармана бумагу. Смотри, говорит, читай! Это был указ Президиума Верховного Совета о снижении Азату Аршакяну срока с десяти лет до трех. Азат кончит срок через полгода!

– Не фальшивка? – засомневался я. – Бланки у них есть всякие, взяли бланк Президиума и отпечатали в саранской канцелярии.

– Непохоже, – покачал Паруйр головой, – Зоренков, видно, очень волновался. Это для него важный казался разговор. На фуфло непохоже.

...Мы в зоне никогда не верили ни одному слову гебистов, ни одному их намеку. Кто-то шутил, что для зэка поверить гебисту – все равно, что верующему христианину поверить бесу. Я возражал, что, мол, сравнение неточно: бесенок, в конце концов, делец, он заинтересован купить душу, то есть в выгодной для него сделке. Гебисту же сделка по сути не важна, ему важен обман. В общении с зэками они всегда мошенники, фуфлыжники, шулера... Не потому, что лично они – нечестные люди: как раз особо аморальных людей именно среди гебешников я не наблюдал (возможно, они есть, но я не встречал таких). Верю, что в своей среде некоторые из них бывают просто честными! Но с нами они на работе. А работа – вся – состояла из цепи обманов. Для них это уже вроде и не обман, а просто форма работы. Мне казалось, что даже если им в некоей ситуации выгодно стать честными, они уже не могут, это свыше их сил, быть честным в общении с партнером – это для гебиста вроде измены профессии.

Кроме того, мы всегда понимали, что даже если кто-то из них лично честен и верит в свои слова и обещания – он "никто и звать никак", он не отвечает за свои слова. Помню, на Айрикяна, да и на меня тоже, произвела сильное

впечатление история, рассказанная нашим новым товарищем, невысоким, круглым, вечно углубленным в себя Сергеем Солдатовым, отбывавшим шесть лет за создание организации "Демократическое Движение Эстонии" (Сергей работал преподавателем в Таллинском политехническом институте).

Откуда Сергей узнал эти подробности, не рассказывал, но пришел он с воли позже и явно читал литературу, нам с Паруйром недоступную. История касалась судьбы бывшего министра внутренних дел Венгрии Ласло Райка. Я еще помнил шум и гром в печати после ареста этого Райка, которого обвиняли в том, что он на самом деле не Райк, а Райх (немец? еврей? Не расшифровывалось. И потому обвинение казалось еще страшнее). Якобы он специально воевал в Испании, в "Интернациональных бригадах" коммунистов, чтобы пробраться в доверие, а потом работал последовательно на гестапо, ЦРУ и тито-фашистскую свору. Сам Райк и все его соратники признались в этом перед судом! Сергей рассказывал, что дело Райка вел лично преемник, министр Янош Кадар (в Венгрии тайной полицией ведал министр внутренних дел). Кадар, нынешний венгерский лидер, тогда, был приятелем, даже другом Райка, и именно он уговорил Райка публично признать себя шпионом, террористом и заговорщиком – в интересах Партии! Это, мол, будет спектакль, нужный для дела, а после объявленного смертного приговора Райка переведут из тюрьмы в другое место, дадут новые документы, и на новом важном посту старый коммунист, оправдавший партийное доверие, начнет снова работать для Коммунизма.

Райк выполнил задание родной партии и, по словам Сергея, был недоволен, когда его все-таки поволокли на виселицу. Но самое удивительное – собственно, то, ради чего Сергей рассказывал, а мы слушали, – оказалось возмущение верховного следователя, министра внутренних дел Кадара. Он, который провернул операцию, верил, что Райку всерьез обещают то, что ему он передавал. Кадар якобы протес-

товал: "Что вы делаете? Райк поверил не вам, он поверил моему слову, слову друга!". А, так ты друг изменника родины? Взяли в камеру и верховного гебиста. Уродовали и калечили пытками под верховным контролем членов политбюро... Мы слушали эту историю со вниманием, потому что она вполне соответствовала нашему опыту общения с ГБ: даже слово министра ровно ничего не значило. И даже если он был искренен! Они, гебешники, в наших глазах не были тогда "хозяевами самих себя", а так – винтики в машине... Вот почему никаким словам наших старлеев, капитанов и майоров ни один зэк в здравом уме никогда не верил. Но на этот раз Паруйру показалось, что дело с "помиловкой" – не фуфло. Причем убедила Айрикяна в искренности поведения гебистов как раз нерешительность указа, прочитанного ему капитаном Зоренковым: освобождение Аршакяна отодвигалось на шесть месяцев. Похоже, гебисты, в свою очередь, опасались обмана со стороны армян и готовились отказаться от аванса-указа в случае срыва игры. Смысл указа в таком случае становился ясен: убедить Паруйра, что на этот раз гебисты не обманывают...

Не помню, в тот день или на следующий состоялось у Айрикяна свидание с отцом. Принес Паруйр оттуда кучу приятных новостей, и мы понимали, что эти новости умышленно были пропущены заботливыми "опекунами", так же, как и продукты, которые ему позволили взять у отца и внести в зону: семейный очаг, близость родных, успехи на грядущей "воле" – все это должно было разрыхлить корку на душе заключенного, сделать его мягче и податливей до наступления решающего момента, когда повезут в Армению.

–Ну, во-первых, отец рассказал, что стихи Паруйра прочитала, пожалуй, самая популярная в СССР армянская поэтесса Сильва Капутикян. Отметила дилетантство автора, поругала за небрежность в отделке, но в конце сказала:

– Талант несомненно есть.

– Почему небрежность? – объяснял нам польщенный Паруйр. – Небрежность – это когда стараются, но не до кон-

ца, когда что-то не доделали, верно? Для меня стихи просто развлечение, и песни тоже. У меня главное – другое.

Но куда больше обрадовала его переданная отцом фотография, где в окружении родителей и родственников Айрикяна стоял благообразный пожилой человек в одежде, напоминавшей отдаленно халат. Вот тут, я думаю, наши гебисты просто по недосмотру, по незнанию дали маху: по логике начальства не нужно было пропускать эту фотографию. Или я ошибаюсь, и у них имелись неизвестные мне расчеты?

– Мой родственник, – на бумаге трудно передать, как волновался обрадованный Айрикян! – Иерусалимский патриарх Армяно-Григорианской церкви. Нашей церкви. Приезжал в гости в Армению и зашел в нам домой.

...Уже приехав в Израиль, я столкнулся с таким же, прежде непонятным мне отношением к национальной церкви, когда и самый неверующий человек испытывает странное тяготение и почтение к национальной религии. Ветеран-социалист из кибуца (коммуны), услышав от меня, что одна моя знакомая – это правнучка основателя религиозного движения "Хабад", Залмана Шнеерсона, с невозможным волнением и почтением воскликнул: "Она правнучка Альте-Ребе?!" ("альте-ребе" – буквально "старого учителя"). Если бы она была правнучкой самого Карла Маркса, это вызвало бы у марксиста более слабую реакцию...

Паруйр, кажется, не был религиозен, во всяком случае, в организационно-обрядовой форме. Я никогда не видел, чтобы он молился, чтобы в спорах ссылался на Библию или религиозные авторитеты и проч. Но он явно принадлежал в породе "нецерковных верующих": презиравший какого-нибудь Демирчяна, Микояна, Тевосяна и прочих знаменитых советских сановников из среды армян, он понижал от почтительности голос, когда произносил имя иерусалимского патриарха или эчмиадзинского католикоса. "Сталин после войны хотел выселить всех армян из Армении, – рассказывал мне, по-моему, легенду, но очень характерную легенду, – предложили католикосу возглавить движение за пересе-

ление на новые земли. Он ответил: я уеду куда угодно и уведу с собой свой народ, но мне нужно захватить с собой Эчмиадзин*и Арарат".

Любопытная деталь: даже к самым смелым и самоотверженным борцам Паруйр относился как лидер к ведомым, как первый к тем, кто идет следом: это всегда чувствовалось. Единственное исключение – Роберт Назарян, о котором он отзывался как о человеке себе равновеликом. Я объяснял этот феномен тем, что Роберт был служителем армянской церкви – и в глазах Айрикяна он был поэтому не таким, как все остальные, а – выше.

Но это опять виток мысли в сторону от сюжета. В сюжет, наверное, стоит включить тогдашнюю встречу отца Паруйра со Стусом. По-моему, Зиненко считал Айрикяна уже как бы освобожденным и, во всяком случае, ответственность за него полностью переложил на гебуху, которая в караульно-надзирательских делах не слишком сильна. Иначе невозможно объяснить, почему отцу Айрикяна позволили постоять на двухметровом "пятачке", который отделяет комнату свиданий от выхода с зоны. Обычно момент, когда родственник, прибывший на свидание, выходит из камеры для свиданий (официально именуемой "комнатой для обысков и свиданий"), специально подкарауливался людьми капитана: надзиратели оцепляли вахту, чтоб никто не приблизился к вахте – вдруг человек с "воли" увидит кого-то "неположенного". Но отец Паруйра вышел на эти два метра дорожки в сопровождении гебиста, и поэтому надзиратели не заняли обычных постов, и отец с сыном смогли на дворе поговорить лишних пять минут, обменяться последними словами.

Рядом с Паруйром, поджидавшим, конечно, отца, чтоб последний раз в этом году посмотреть на его спину, стоял Василь Стус.

---

* Эчмиадзин – резиденция католикоса (патриарха) всех армян недалеко от Еревана.

– Это мой лучший здешний друг, отец.

– Друг моего сына – мой сын, – ответил гость из Армении. – До свидания, Паруйр. Мне только что этот товарищ сказал, – незаметный кивок в сторону гебиста, а разговор, естественно, шел на армянском, – что больше я сюда не вернусь.

Важная для нас новость. Конечно, мы сами видели, что "проклятая зона" умирает естественной смертью, что замирают, оставшиеся после этапов без рабочих службы, цеха... Мы ждали со дня на день: когда же конец? Когда сдохнет зона, где погибали некогда монахини, откуда увезли умирать в больницу поэта Юрия Галанскова, а в тюрьму поэта Юлия Даниэля и социал-демократа Валерия Ронкина, зону, где сидели самые известные политзаключенные последних десятилетий – русский националист Владимир Осипов, украинские националисты Квецко, Чорновол, Стус, демократ Любарский, сионисты Кузнецов и Дымшиц, литовец Паулайтис, армяне Айрикян и Зограбян. И вот наступил момент – момент смерти зоны. Впервые от отца Паруйра мы узнали, что – решено, что с ней кончено! Скоро мы уедем отсюда!

Надо приготовиться.

А через день после этого свидания – в урочный день этапа с больницы приехал на зону Владимир Кузюкин.

* * *

Мы уже не ждали его. Автозак с больницы давно уже должен был появиться возле зоны, но на вахте никого, значит, никого не привезли. Теперь ждать целую неделю. И вдруг в зону вводят Кузюкина, буквально за десять минут до развода с работы – часов через пять после возможного прибытия этапа.

– Ты почему задержался?

– Забуксовал в дороге автозак. Никак выехать не мог из грязи. Пришлось останавливать, меня вывели наружу,

стали ветки рубить, подкладывать под колеса. Еле выбрались. Часа три мудохались на месте!

Паруйр вьется вокруг него, как кавалер в танце вокруг дамы.

– Я так ждал тебя, Володя, ты ведь голоден с этапа. Мне отец передал вкусненькое – сейчас накормим тебя.

Он убежал и через две минуты – неужели бутерброд был заранее приготовлен? – принес Кузюкину хлеб с икрой. Наблюдаю за ними и, помню, мысленно отметил что-то ненатуральное в поведении "друзей". На душе было тяжело, не душой, а как-то даже телом вдруг я устал, ноги подгибались, не в силах меня тащить. Отошел, лег на койку, закрыл глаза, напрасно стараясь уснуть, и лишь в эту секунду вдруг понял, что меня поразило, когда ел Кузюкин: он объел икру с бутерброда, а хлеб оставил целым. Паруйр знал, он предвидел, а Кузюкин, не заметив ловушки, попался: ведь приехал с этапа – *сытым*. С этапа, тем более задержавшегося в дороге на несколько часов, зэки никогда не приезжают сытыми!

Еще я подумал, что Паруйр не для себя, а для меня устроил эту сценку с бутербродом – чтоб я увидел. Доверие к Кузюкину в зоне после истории с Болонкиным держалась, если честно признаться, на моем доверии к нему, на нашей дружбе. Я все деньги, которые имелись на моем счету в лагере, перевел его семье (моей семье в то время помогали друзья и Фонд помощи политзаключенным, основанный Солженицыным, а семье Кузюкина после болонкинской истории помогать отказывались).

...Через полчаса в секцию, где я лежал, пришел Виталий Лысенко.

– Миша, Паруйр устраивает чай в честь прибытия Кузюкина в зону, просит тебя прийти.

– Нет, Виталий, я не хочу... Очень устал, нет сил. Так и передай Паруйру.

Он вернулся почти сразу.

– Паруйр все-таки просит прийти тебя обязательно.

Я понял: дело не в чае. Надо идти.

Поплелся к пустому бараку, где за столиком на свежем воздухе Паруйр собрал весь лагерный "верх". На столе стояли все его шикарные припасы. В центре компании сидел виновник торжества Кузюкин и не спеша, по-зэковски, прихлебывал чай. Чай был отлично заварен – Паруйр не жалел заварки и время от времени подливал все новые порции новому другу.

– Что же ты, Рувимыч, задержался? – встретил меня Кузюкин вопросом-упреком. Чувствовалась в нем какая-то напряженность, но ленивая, только что возникшая, словно именно от меня, от моего прибытия к столу ждал он сюрприза и подвоха.

– Устал, Володя, – повторил я, – очень устал.

– Ну так попей чайку. Поможет.

Заходящее солнце золотило темные доски стола и наши серые робы.

– Как там на больничке, без меня ничего нового не случилось? – спросил Паруйр.

– Все по-старому.

– А то там какие-то странные дела в последние дни происходили. Вот, к примеру, я тебе еще не рассказывал, Миша, – вдруг повернулся ко мне Паруйр, – вызывает меня вдруг врач. Начал длинные-длинные и вовсе пустые разговоры. Сначала не понял, а потом думаю: наверное, меня зачем-то отвлекают на время из зоны. Появились на больнице гебисты, кого-то щупают и не хотят, чтоб я видел кого? Возвратился, спрашиваю Володю: были гебисты? Были, отвечает. Кого дергали? Меня, говорит. Вдруг его вызвали на вахту, а там стоит уполномоченный Зоренков с какой-то женщиной. Увидел, что Володя вошел, и накинулся на него: "Вы зачем здесь, Кузюкин?". Володя ему: как зачем? Вы меня вызывали. "Что вы, что вы, я вас не вызывал. Можете идти".

– ...Кто-то им был нужен, кого-то ждали, – подхватил Кузюкин. – И кого-то важного для них: у Зоренкова был прямо испуганный вид, когда меня увидел. Накладка про-

изошла: не того человека суки позвали. Интересно, что за баба была с Зоренковым? Никогда ее не видел.

– На другой день, помнишь, Володя, за мной заехал Зоренков и повез на легковой машине... Я тебе рассказывал.

Кузюкин кивнул: помню.

– ...вспомнил я про этот случай и говорю Зоренкову: как вы хотите, чтоб я поверил органам в важном деле, рискую своим авторитетом среди товарищей, иду вам навстречу, а вы меня обманываете в неважных мелочах. Обещали, как только появитесь на больнице, сразу поговорить со мной, вчера приехали, а меня не вызывали. А он ответил: "Паруйр, мы не обманываем тебя. Даю честное слово, что вчера меня не было на больнице. Такие сумасшедшие дни, столько работы, никак не мог к тебе выбраться пораньше". Знаешь, Володя, по тому, как он говорил, – голос Айрикяна звучал мягко, но в то же время совершенно убежденно, – я понял: он говорил правду и не был он в тот день на больнице.

– Может, и не он был, – пожал плечами Кузюкин: тоже событие! – Там на вахте темновато было, я мог не разглядеть...

Мне показалось, что в ту же самую секунду, когда успокоенный парадным приемом и усыпленный вкуснейшим чаем, он ляпнул эту несусветную глупость, в ту же секунду понял, что необратимо попался. Зэк, которого позвали на вахту для разговора с гебистом, не может, это совершенно недопустимо, не узнать гебиста в лицо!

– Но ведь ты еще и говорил с ним, Володя, – ласково уточнил Паруйр. – Голос тоже был не его? Или ты в темноте не расслышал?

– Это был он. Он врал тебе, гебистская сука! – зашипел Кузюкин.

Я потом думал: а что, если бы он сообразил сразу и занял верную линию с самого начала? Нет, вряд ли что-то могло его спасти. Паруйр ведь уже знал истину, и вся его игра сводилась, в сущности, к тому, чтобы не раскрывать доказательств, а заставить Кузюкина разоблачать себя самого.

Главным образом, он хотел, чтоб Кузюкин убедил меня, своего друга. И Паруйр этого добился.

Я вышел из-за стола. За мной встали остальные, кроме Виталия Лысенко: увлеченный вкуснейшим чаем, Виталий пропустил мимо ушей разговор о каких-то событиях на больнице и теперь с удивлением нас разглядывал.

...Через час Айрикян подошел к моей койке.

– Ты убедился?

– Да. Он сказал товарищам неправду.

Одного этого обвинения было достаточно, чтобы отлучить Кузюкина от диссидентской компании политзаключенных.

Меня три раза предупреждали, что Кузюкину не следует верить, старики, военные преступники. Один намекал: "Если он человек солидный, зачем водится с Ломакиным?". Другой вспоминал: "Зачем он без дела лазил в кинобудку?". Все это звучало неубедительно, и только потом я припомнил, что старички решались предупреждать меня обычно за день до освобождения, то есть уходя из зоны и больше не опасаясь мести оперуполномоченного. Я им не верил: ведь за службу органам КГБ человек должен иметь хоть какое-то вознаграждение – но Кузюкин не получал ни лишних посылок, ни передач, ничего. Да и срок он почти полностью к тому времени уже отсидел: почти четыре года из пятилетнего срока.

– Паруйр, объясни, *зачем* ему понадобилось это?

– Он по убеждениям ихний человек и всегда был ихний, а в политику запутался случайно! – жестко отрезал Паруйр. Нет, молодость все-таки судит жестоко. Это ужасное зрелище, может быть, самому ужасное в современной зоне – наблюдать падение человека. Когда "ссучивался" старик из гитлеровской администрации или паренек из уголовников, попавший в политическую зону (бывали и такие), мы относились к ним спокойно. Ведь с их душами никаких особых изменений не происходило, это люди, привыкшие чтить власть в любой ее форме – в форме офицера СС, пахана

уголовной бражки или офицера КГБ, если тот вдруг стал сильнее гитлеровца или вора в законе. Но когда видишь человека, растерявшегося, запутавшегося и без нужды, только от страха павшего, – на это грустно смотреть*.

Я все-таки не мог поверить, что Кузюкин элементарно стучал. Искал для объяснения его поведения какие-то другие мотивы.

– Паруйр, может он не стучал на всех, а мстил тебе лично?

Дело в том, что Айрикян не любил Кузюкина, иногда даже задевал его национальное достоинство – чего обычно никогда и ни с кем из других русских не делал. Так возникла у меня эта фантастическая надежда: а вдруг в поведении Кузюкина имелись человеческие мотивы, например, месть за национальное оскорбление.

– Меня он не продавал гебистам! – говорю Айрикяну, правда, не очень уверенно.

– Доказать, что продавал, как и всех остальных? – улыбается Паруйр. – Подойдем сегодня к нему после работы.

– Нет, я с ним говорить больше не могу. Не проси, Паруйр.

Но не так легко заставить Айрикяна отказаться от его плана.

– Я тогда возьму на разговор Лысенко. Ты доверяешь ему как свидетелю?

– Доверяю.

– Пришлю к тебе после развода.

---

* Много позже мне припомнился рассказ Кузюкина о некоем майоре КГБ Янашкине, уполномоченном по нашей зоне в начале его, кузюкинского, срока. "Я просил его, – рассказывал мне Кузюкин, – получил пять лет и хватит с меня этого наказания. Оставьте меня в покое, дайте их досидеть. Только это мне нужно. Не дал, сука! Покарал его Бог за меня: через две недели в пьяном виде попал под поезд, насмерть зарезало". Такую тоскливую, непрощающую злобу услышал я тогда в голосе Кузюкина, приметил ее и... ничего не понял. Хотя задним числом понимаю, что Паруйр был неправ: Кузюкин не "ихний", а просто не выстоял.

Вечером меня разыскал Лысенко: "Миша, Паруйр просил, чтобы я тебе рассказал, что видел. Мы подошли к Кузюкину, и он стал ругать капитана Зоренкова, что тот просто солгал Паруйру, чтобы подозревали Кузюкина, а на самом деле он приезжал тогда в больницу. И он, Кузюкин, оторопел и оговорился, не ожидая гебистской наглости. Паруйр послушал, а потом спросил его, спокойно так: "Володя, а это ты писал Зоренкову, что Айрикян, Хейфец, Стус, Граур хотят, чтобы кулак советской власти разогнулся в ладонь?".

По словам Лысенко, Кузюкин странно поперхнулся, пожелтел еще сильнее обычного и вдруг сорвался с места, ушел, не закончив разговора.

Все стало неоспоримо и ясно.

Оставалось решить еще один "технический вопрос" – со столом. Все диссиденты сидели в столовой за одним столом с Кузюкиным. Ирония скрывалась в том факте, что раньше они сидели отдельно от Кузюкина (после истории с Болонкиным), но после отъезда этапом на север "тамады" прежнего стола Дмитра Квецко все постепенно переселились к Кузюкину. Теперь предстояло выселять "хозяина стола" с его законного места. Поручили поговорить об этом мне.

...Сильнее любых айрикяновских улик изобличало в то время Владимира Ивановича чувство вины, жуткой раздавленности и стыда, начертанное на морщинистом лице. Но признать себя виновным официально, то есть самому уйти из-за диссидентского стола – оказалось свыше его сил.

– Не хочу уходить. Я сидел за этим столом три года. Вы только что подсели. Я еще докажу, что это ошибка, – пытался он перечить.

– Володя, если ты не уйдешь, мы уйдем все.

Договорились на компромиссе: в последний раз пообедаем вместе, а за ужином от стола отсядет три-четыре человека вместе с Кузюкиным. Будто произошла среди диссидентов ссора. К завтраку остальные вернутся за обычный стол, а Кузюкин застрянет где-нибудь у "стариков". Таким образом, отторгнутый от общества диссидентов, он сумеет

легально сохранить компанию среди военных преступников. Среди них, кстати, стукачество не считалось смертным грехом (числились грехи и покрупнее).

Итак, сели мы обедать в последний раз вместе. Но только опустились ложки в тарелки с рыбьим супом, как наш "запорожский гетман" Стус неожиданно застонал:

— Володя, ты извини меня, но даже одного раза я не могу высидеть с тобой за одним столом.

Встал и вышел вон.

И, будто по команде, встали и вышли за ним остальные зэки, Кузюкин остался сидеть один. За ужином и он не выдержал — перебрался к "военным", как было условлено. Опозоренный его предательством, стол так и стоял пустым до самого конца зоны.

Через два дня на доске приказов появился листок, написанный от руки: под каким-то фантастическим предлогом (кажется, я "отлучался с рабочего места", хотя отлучался я в туалет, да и норма была выполнена в тот день, а остальное обычно надзирателей не касалось) Хейфеца и Айрикяна лишали очередного свидания с родными. Когда слух о таком невероятном наказании дошел до других зон, там всполошились, и Чорновол, редактор "Украинского вестника", вместе с Осиповым, редактором русского националистического "Вече", провели однодневную голодовку протеста против несправедливой травли Айрикяна и Хейфеца. Но на нашей зоне никто не шелохнулся протестовать, даже Стус, которого обычно уговаривать не приходилось. Все понимали: наказывают за Кузюкина, то есть основания у начальства имелись, хотя и не те, что обозначены в приказе.

Забавно то, что, как ясно читателю, я-то к разоблачению Кузюкина не имел никакого отношения, наоборот, верил ему почти до самого конца, а жалеть — так и до сих пор его жалею. Это гебисты, да, думаю, и сам Владимир Иванович, не могли поверить, что такой умница, игрок высокого класса, "агент высшей категории", он стал жертвой молодого Айрикяна. Доцента Болонкина обошел, писателя Хейфеца

обошел, а на молодом Айрикяне в суп попал! Да как странно, непонятно... За спиной Айрикяна они опять искали направляющую руку, и с того времени я получил репутацию "грозы шпионов", мною, как видит читатель, совершенно незаслуженную, да плюс – лишился очередного свидания. Потеря свидания, правда, компенсировалась возможностью погреться в лучах айрикяновского успеха. Все мы люди грешные...

Через несколько недель нас увезли с "мертвой зоны" по соседству в "большую зону" – девятнадцатую. Когда колонна зэков ожидала команды на впуск в ворота зоны, неожиданно надзиратели выкрикнули: "Кто тут Кузюкин? С вещами на вахту!". "До свиданья!" – смущенно обратился к молчавшим товарищам Владимир Иванович, ушел и... больше мы его не видели. Через неделю старики-стукачи сообщили: прямо на вахте Кузюкину зачитали указ о помиловании и освободили. Он не досидел год и месяц до конца пятилетнего срока, странным образом обязанный этим освобождением проницательности Айрикяна: если бы его не разоблачил Паруйр, сидеть бы до звонка: КГБ рассчитывается за службу посылками и пачками чая, но не любит платить свободой. Но разоблаченного, а потому бесполезного "секретного сотрудника" можно освободить...

Полтора года спустя, встретившись с Паруйром в амбулатории девятнадцатой зоны, я, подшучивая насчет "вечного его должника", обязанного досрочным освобождением, спросил:

– Теперь ты мне можешь рассказать, что это за "кулак, который разжался в ладонь"?

И Паруйр рассказал мне эпизод, будто выкраденный из детективного фильма.

На следствии по делу Национальной Объединенной партии в Ереване произошел такой эпизод. На одного из арестованных ноповцев упало подозрение в предательстве: гебисты знали факты, известные лишь ему и совершенно безупречным руководителям организации. Паруйр не рассказал мне,

как именно, но все-таки удалось выяснить: товарищ не стал предателем, он оказался виноват только в небольшой неосторожности. Сведения, известные ему, он написал на листе бумаги, который успел уничтожить до обыска. Но на том листе, который лежал *под* исписанным, гебисты обнаружили выдавленные шариковой ручкой линии и по ним восстановили уничтоженный текст.

Однажды Паруйр зашел к Кузюкину, заметив, что тот отлучился в рабочее время неизвестно куда. Это было уже после истории с перехваченной посылкой, которая заставляла подозревать электрика в предательстве. На столе у Кузюкина лежала пачка чистых белых листов. Айрикян вспомнил урок, данный ноповцам на следствии, и посмотрел, нет ли на верхнем листе выдавленных линий. Они нашлись. Паруйр забрал листок и расшифровал написанные Кузюкиным фразы: среди них оказалась и та, которую он процитировал впоследствии при свидетеле, Лысенко.

— Я ему совсем мозги запудрил, — смеялся Паруйр, — зачем, говорю, отпираешься, разве не понял, что твою докладную мне капитан Зоренков передал, когда мы с ним катались на машине. Он, кажется, поверил, кинулся к ним, и меня вызвал Мартынов...

Капитан КГБ Мартынов курировал политлагеря строгого режима.

— ...спрашивает: "Ты куда спрятал бумагу?" — "А вам зачем?" — "Верни". — "Зачем мне ее возвращать, какая выгода?" — "Слушай, Паруйр, мы ведь не мешаем жить тебе на зоне, правда? И ты нам не мешай. Наша агентура — это не твое дело, она не должна тебя касаться".

Так мы подвели черту под "кузюкинской историей".

СЕКРЕТАРЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ...

Летом семьдесят шестого года, после возвращения из Саранска, Паруйр Айрикян провел необычную акцию. Напомню читателю, что на своем судебном процессе он отрицал участие в практической деятельности НОП, в ее организационной структуре и т. д. Эта часть обвинительного заключения так и осталась недоказанной и не вошла в окончательный приговор. И вот, летом 1976 года, Айрикян меняет тактику: он подает администрации официальное заявление, что выдвинутое против него и недоказанное обвинение в том, что он является руководителем НОП и несет ответственность за все действия организации, – фактически достоверно. Да, он, Паруйр Айрикян, является официальным секретарем (лидером) Национальной Объединенной партии Армении.

Впервые эта идея возникла у него в Саранском следственном изоляторе: ему удалось крикнуть соседу по прогулочной камере Эдуарду Кузнецову: "Я хочу объявить себя секретарем НОП. Как ты смотришь?". "Объявляй!" – поддержал Кузнецов (после, уже в Израиле, он признался, что тогда не имел представления, что Паруйр на самом деле законно избранный секретарь организации. Он думал, что речь идет только о "прокламировании" этого звания). Надзиратели немедленно прервали прогулку, но потом не только вернули зэков на свои места в прогулочные дворики, но даже убрали надзирателя с вышки: пусть, мол, поговорят посвободнее. Но зэки-то гуляли опытные. Кузнецов сидел двенадцать лет, да и Айрикян добивал шестой год, на наживку не клюнули. Тогда их посадили вдвоем в одну камеру, чтоб поговорили...

Почему Комитет ГБ был заинтересован в таком заявлении – понятно: пусть задним числом, пусть после суда, но подтвердит личным признанием предположение, сделанное следователями Комитета в ходе следствия. У них имелась в таком заявлении профессиональная заинтересованность, а выше их интересов для ГБ ничего нет. Потому они и свели двух зэков, узнав, что Кузнецов будет влиять на Айрикяна в "желательном" направлении.

Но почему Кузнецов и Айрикян считали такое заявление-признание полезным для их дела – вот вопрос!

Зачем руководитель организации, который по должности являлся хранителем ее секретов (в этом смысл слова – "секретарь"), выдал противнику один из таких секретов: кто именно является лидером организации.

Вернувшись в зону и рассказав мне про встречу с Кузнецовым ("надо быть таким, как он"), Паруйр стал советоваться насчет новой акции. Во-первых, он подыскивал наиболее подходящий русский термин для обозначения своего положения в организации ("Миша, как назвать по-русски человека, которому доверены тайны организации"), а во-вторых, он хотел, чтобы смысл его действий стал ясен всем и, возможно, послужил примером.

Акция была связана с подписанием правительством СССР и 34-мя другими правительствами Хельсинкской декларации, "Конституции Европы".

Все яснее становилось, что вместо выполнения этой декларации правительство СССР решило найти примитивную уловку, в которую способны поверить доверчивые люди на Западе. Не могу обвинять по совести руководителей СССР: если властители дум довоенной Европы Ромен Роллан, Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер и другие верили и своим доверием "нотариально" проштемпелевали для широкой публики, что старая большевистская компания работала шпионами в пользу Германии Гитлера (что звучало особенно пикантно, потому что эта гоп-компания, наверное, на треть состояла из евреев), то почему бы их наследникам в семи-

десятые годы из либерал-детантных кругов не поверить, например, что Сахаров и его единомышленники типа Орлова, Щаранского, Ковалева и др., а также, разумеется, "националисты всех мастей" просто состоят "на содержании у ЦРУ и реакционных сил империализма"! По-моему, советским руководителям, имевшим опыт общения с Сартром, Расселом и прочими интеллектуалами, грех было не попробовать разыграть такую карту еще раз.

Кто-то из референтов, видимо, посоветовал использовать хрущевский инструментарий. Когда-то веселый и говорливый вождь народов СССР, покоритель Америки и Европы Никита Хрущев сообщил изумленному человечеству, что в Союзе вообще нет больше политических заключенных, а остались только уголовники! Впрочем, покончив с политическими преступлениями, наш руководитель с большим размахом обещал покончить и с обыкновенной преступностью: хорошо помню, как он обещал своему народу и всему прогрессивному человечеству, включая властителей его дум, что настанет день, когда он пожмет руку последнему уголовному преступнику в СССР. По-своему он был прав, ибо имел возможность объявить о конце уголовных преступлений точно такую же, как и о конце преступлений политических... Как бы то ни было, идея покончить с политическими заключенными просто объявив, что они более в СССР не существуют, понравилась советским руководителям.

В советских лагерях сидят люди, отрицающие терроризм и насилие? Люди, отрицающие даже антисоветизм, проповедующие конституционные методы, духовную борьбу, идею национальной независимости, достигаемой путем референдума? (Надо ли напоминать, что по Конституции СССР каждая республика имеет право выйти из состава Союза путем референдума?!) Это – неправда. Это – ложь, распространяемая антисоветскими клеветниками и недоброжелателями!

Мы хорошо представляли себе облик г-на Воронцова,

представителя Союза на Белградской конференции 35 государств: то был, видимо, незаурядный мастер "художественного свиста". У нас на девятнадцатой зоне сидел Женя Сорокин, бывший советский дипломат в Лаосе, бежавший оттуда в США (не по политическим, а по бытовым соображениям), получивший там прекрасную работу, отличное жилье и великолепные перспективы. Воронцов, встретившийся с ним, убедил Женю, что ему нужно вернуться в Союз, где того ждет не только семья (жена и дочь), но полное прощение, прежняя работа и любовь начальства. "Честное слово коммуниста!" – и Женя, дурачок, поверил воронцовскому слову и, вернувшись, получил срок в двенадцать лет заключения в лагере строгого режима, учитывая, как оговорил суд, "добровольное возвращение". Поэтому моральную потенцию г. Воронцова и примерную логику его речей в зонах мы представляли неплохо. Например, так: Господа представители Европы и Северной Америки! О ком вы говорите, кого защищаете? Некоего Айрикяна? Он не политический, а уголовный преступник. Хулиган. За что его осудили? Возглавляемая им банда сожгла в Ереване портрет Основоположника нашей Партии и Государства В.Ленина, пачкала заборы нецензурными надписями, нарушала паспортный режим, принятый у нас в стране и так далее. Что? Он заявляет, что его арестовали по политическим соображениям? Господа, любой преступник, изворачиваясь, старается привлечь внимание общественности любым способом, в том числе ложью. Вы знаете это по знакомому вам опыту ваших стран. Господин представитель США, вы помните некоего "соледадского брата" Джонсона, который грабил бензоколонки, а в тюрьме объявил себя марксистом и жаловался, что правительство вашей страны преследует его только как негра? Мы объявляли его политзаключенным? Конечно. Это было время время холодной войны, а во время войны возможно использование разного оружия. Но, уверяю вас, мы всегда знали, кем он является на самом деле. И если наступит детант, мы не будем использовать такое оружие:

можете съесть ваших соледадских братьев с горчицей, мы не скажем даже междометия. Вы, конечно, можете считать вашу Анджелу Дэвис политической преступницей, хотя она передала преступникам револьвер, из которого был убит судья на процессе этого Джонсона, но в нашей стране она была бы обыкновенной уголовницей, судимой за соучастие в убийстве должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Мы тоже называли ее когда-то политической? Господа, это была холодная война. Если мы хотим подвести черту под прошлым и начать новую страницу мира, давайте забудем о ваших и наших убийцах, которых мы в определенных целях раньше называли политическими преступниками. Наш Айрикян, или Чорновол, или Аршакян, или Паулайтис, это все того же поля ягоды, что и ваши Джонсоны и Дэвисы – это уголовные преступники, хулиганы, убийцы, развратители сознания. Вас на самом деле волнуют наши уголовники? Почему такой молодой человек, как этот Айрикян, сидит четырнадцать лет? Или Кузнецов – двадцать два года? Паулайтис – тридцать пять лет? Господа, у каждой страны свои законы и свои представления о борьбе с преступностью. Вы вот выпустили вашу Анджелу Дэвис "за недостатком улик", а у нас в стране – скажу по секрету на закрытом совещании, сошлетесь на меня – откажусь, заранее предупреждаю, – у нас она несомненно была бы приговорена к расстрелу, и приговор был бы утвержден. Зато в Нью-Йорке страшно ходить пешком вечерами, а у нас в Москве хоть всю ночь гуляйте, никто вас не тронет. Позвольте нам самим решать наши дела с преступностью, по нашим законам, это наши внутренние дела, которые не подведомственны представителям, собравшимся обсуждать выполнение Хельсинкских соглашений.

Согласитесь – убедительно!

И если через год Белградская конференция по проверке выполнения Хельсинкских соглашений закончилась жалким фиаско г. Воронцова (его отправили в опалу – послом в Индию!), а следующая конференция, Мадридская, не могла не-

сколько лет разродиться самым коротким совместным коммюнике – тому причиной не внезапная слабость советской дипломатии, не несовершенство выдвинутых ею версий, но неожиданные и неучтенные факторы сопротивления лжи в их стране, в СССР. Помогают лишь тем, кто может и готов бороться сам!

Одним из таких факторов, думается мне, была кампания, начатая заявлением Айрикяна о его секретарстве в НОП.

Айрикян признал, что между ним и НОП существовала не только духовная, идейная, но и прямая организационная связь: на собрании командиров организации он был выбран лидером партии (это слово он написал по-русски – "секретарем"). Он признал свою ответственность не только за программу и тактику организации, но и за все ее политические действия.

Если бы у мордовских гебистов хватило сообразительности сразу понять политический смысл этого документа (как его схватил по одному намеку из-за забора и проволоки Эдуард Кузнецов), они приложили бы усилия, чтоб он не был подан.

Копия заявления, естественно, уплыла через "забор": люди полковника Дротенко сумели летом перекрыть важный канал Паруйра, но, как человек запасливый, он имел не один "канал".

Отныне на мировых форумах, посвященных соблюдению Прав человека, невозможно было говорить о хулигане Паруйре Айрикяне, арестованном за нарушение паспортного режима. Человека с титулом "секретарь Национальной Объединенной партии Армении" трудно обвинить в уголовных деяниях, не имея для того никаких оснований. Возьмите, к примеру, его последнее дело: обвинение в даче взятки. Но поскольку речь идет об известном политике, сразу встает вопрос: кому взятку, за что взятку, какую взятку. Сразу выясняется: голодный заключенный дал "вольняшке" пару колготок из посылки, чтобы получить продукты и на-

есться досыта. Такая "взятка" компрометирует не обвиняемого, а судей и обвинителей!

Примеру Паруйра последовали другие заключенные. Сергей Солдатов подал заявление, в котором признал себя председателем Демократического Движения Эстонии (гебисты подозревали его, но никаких доказательств не имели, и официально такое обвинение не было против него выдвинуто на суде). Вячеслав Чорновол официально объявил, что это он выпускал и редактировал "Украинский вестник", периодический информационный орган украинского национального сопротивления (этот факт не только не инкриминировался, но следователи даже после признания Чорновола отказывались поверить, что он, человек, находившийся под открытым и постоянным надзором ГБ, мог под носом местного управления организовать такое журнальное дело). Заявления политзаключенных через Общественные группы содействия Хельсинкским соглашениям попали на страницы печати: думаю, что расправа над Робертом Назаряном, близким другом Паруйра, одним из деятелей Армянской Хельсинкской группы, объяснялась тем, что он вступился за арестованных членов НОП. Правда, "советская юстиция" пробовала трепыхаться: тогдашний заместитель министра юстиции СССР Сухарев (ныне министр) открыл в Союзе невиданную разновидность: "уголовные преступники с политической окраской". Но стоило хотя бы признать "окраску", как немедленно вставал вопрос о ее цвете, а цвет у "окраски" семидесятых годов был преимущественно тот же, что у НОП: отрицание насилия как метода борьбы, защита законности, достижение независимости и вообще реформ с помощью референдумов-всенародных опросов. Что при этом оставалось в преступлении от "уголовного преступления" – судить сложно. Настолько сложно, что руководство КПСС где-то на рубеже 1976-77 годов решило: пожертвовать и детантом, и "духом Хельсинки", отбросить камуфляж законности и гуманности, отбросить все экономические и политические выгоды, которые казались совсем

недавно такими близкими и достижимыми, и — давить, давить, давить!

Так Паруйр Айрикян бросил малый камушек, и наряду со многими камушками, брошенными его друзьями и единомышленника в пруд мировой политики, от этого броска начали расходиться волны общественного мнения, усиливались, умножались, накладываясь одна на другую, подбрасывая одна другую, и в итоге отразились на судьбах целых стран и народов.

* * *

В характере Айрикяна сила соединялась с умственной ловкостью; авторитет в зэковской среде заставлял относиться к нему с уважением любое начальство, любых ментов. И все-таки он был еще очень молод, и молодость играла в нем, заставляла постоянно шутить, разыгрывать, не всегда, кстати, безобидно.

Вот характерный эпизод из этой серии (могу привести их десятки). Разговариваю я в коридоре с Иваном Прикметой, нашим бригадиром, прохвостом и редкостным подонком. Вижу, сзади, со спины Прикметы, тихо подкрадывается к нам Айрикян и, демонстрируя свою силу молодецкую, поднимает бригадира за поясной ремень одной рукой в воздух.

Боже, что сотворилось с бригадиром! Такую маску ужаса на человеческом лице можно увидеть только в самых жутких фильмах Хичкока. Прикмета не крикнул, а заверещал, заклокотал... Крик будто шел из живота и обрывался на уровне горла, и только обрывки его достигали неба, застревая там. Каким-то змеиным изгибом он вырвался из рук Паруйра, а убежать не мог: ноги не слушались. Видно было, что пробует бежать, а ноги мелко-мелко перебираются на полу, словно отказал нервный центр управления ходьбой.

Паруйр испугался такого эффекта:

— Ваня! Ваня! Что ты, Ваня! Я же пошутил с тобой...

Прикмета не сразу замер на месте, долго тяжело дышал, потом хищно сказал:

– Не надо шутить. Вот если будешь бригадиром, поймешь когда-нибудь, какая у меня жизнь.

Был он сволочью выдающейся даже по лагерным, необычным масштабам, первым помощником капитана Зиненко – не за страх, а ради освобождения, обещанного ему гебистами – но с того дня ни разу не задел Айрикяна, ни разу не донес на него капитану.

Второй запомнившийся случай тоже связан с Прикметой.

Незадолго до закрытия зоны чем-то обидел Айрикяна надзиратель Чекмарев, худощавый мужик с мордой нашкодившего кота. Этот Чекмарев, наверное, считался на деревне хозяйственным: все время он воровал в зоне какие-то вещички: то партию рукавиц, то лопату... И уж постоянно пользовался бесплатными услугами зэков: Кузюкин ему чинил электро- и прочие приборы, а лагерный кузнец каждую неделю ковал то грабли, то еще какую-то хреновину для хозяйства. В принципе это запрещено, и Чекмарев отрабатывал у Зиненко свои незаконные льготы, как правило, ложными рапортами на зэков, неприятных капитану. Все писал, чего капитанская душа хотела.

Так вот в августе 1976 года Чекмарев нагадил чем-то Айрикяну. Этого я ни одному чину МВД, если только он не заручился приказом от гебистов, делать не советую: с таким мальчиком, как наш Паруйр, неизвестно, на что можно наколоться. Паруйр решил отплатить обнаглевшему "ментяре" хорошо отрежиссированным спектаклем.

Местом представления он выбрал баню. Расчет режиссера состоял в том, что в бане нет подслушек: из-за водяных паров аппаратура работает плохо, поэтому зэки часто выбирают именно баню местом конфиденциальных договоренностей.

Итак, сидим мы в бане на скамеечке втроем: Паруйр, "младомарксист" из Ленинграда Герман Ушаков и я, грешный. Входит с веником и мочалкой Прикмета. Паруйр подмигивает. Занавес поднимается.

– Миша, ты заметил, что сегодня Чекмарев не вышел на дежурство? Неужели Зиненко пронюхал...

– Ти-ше! – засипел я. Моя роль заключалась в сбрасывании излишнего "пара" драматизации, к которому иногда склонялся Паруйр. Восточного человека не раз подводил темперамент, и он не учитывал, что не всякий стукач поверит, что такой опытный зэк, как Айрикян, заведет при нем откровенный разговор. Тут требовалась мера. Прикмета должен был поверить, что Айрикян не заметил его появления: – Ти-ше... Замолчи, – сиплю я.

И подмигнул в сторону двери, где стоял бригадир. Мизансцена вышла недурно: Ушаков, не посвященный в наши хитрости, даже упрекал потом: "Как неконспиративно ведет себя Айрикян! Разве можно болтать такие вещи, не оглянувшись вокруг!".

Дождаться финала задуманной шутки Паруйр не успел. На следующий день его и 15 заключенных вызвали на обыск и объявили, что после обыска они уходят на этап. Значит, мы разъезжаемся в разные с ним зоны. Интересно, куда его, куда – меня?

– Отправляют в день обычного этапа, – рассуждал Паруйр вслух. – На Пермь увозят специальный этап. Значит, оставляют в Мордовии. Куда же в Мордовии? Один я на этапе из молодых, остальные инвалиды. Есть две политзоны: девятнадцатая и три-пять. На девятнадцатой завод, туда инвалиды не нужны. Значит, меня везут на три-пять, на "швейку" – там зона малая и будет новый "штрафняк". А вас, наверное, дернут на девятнадцатую зону.

Вызов Айрикяна на этап. Друзья обнимают Паруйра на прощанье, провожают его до вахты. Перед запретной полосой, вспаханном куском земли между проволокой и забором, он остановился, вынул из кармана алюминиевую ложку, сломал ее и обломки вышвырнул за колючую проволоку. Старинная зэковская примета: чтоб больше сюда не возвращаться.

И уходит от нас. Надолго.

Через несколько дней мы узнали, что его увезли на зону три-пять. Мы уже находились на девятнадцатой зоне.

Логику начальства Паруйр умел понимать.

КОМАНДИРЫ НОП: АРШАКЯН И МАРКОСЯН

После отъезда Айрикяна ко мне подошел Василь Стус.

– Миша, – спросил он с выражением недоумения интеллигентного человека перед странным явлением природы, – что у тебя с Чекмаревым?

– Не понял, Василь.

Я и в самом деле за всеми хлопотами предэтапных дел, в горячке расставания с другом, совсем позабыл про комедию, которую мы с Паруйром разыгрывали в бане.

– Меня вызвал Зиненко. Намекал, что, мол, ему все известно. Что известно?! Насчет Айрикяна и Чекмарева. Я ответил, что ничего не понимаю. Он зловеще так протянул: "Та-ак! Будете молчать, значит. А вот Михайло Рувимыч избрал другую линию поведения".

Значит, наживка, сработанная Айрикяном, попала к капитану, и он ее заглотал. На счастье Чекмарева, лагерь закрывался, не то съел бы лукавого хулигана наш Паруйр! Забавно, что, получив информацию, капитан поверил ей, но решил в свою очередь сыграть с нами комедию, пользуясь тем, что Айрикяна уже нет в зоне. Однако счет был в нашу пользу: информация была ложной, и Стус не мог на нее "купиться". Любопытно, сказалась ли наша мизансцена на дальнейшей карьере Чекмарева? Во всяком случае, в политических лагерях его больше не видели...

Итак, 31 августа 1976 года нас перебазировали с зоны семнадцать "а" на большую зону, девятнадцатую. При вводе в ворота нового лагеря, как уже упоминалось, отделили, а потом помиловали Кузюкина.

Девятнадцатая зона – роскошное место по сравнению

с малыми "ямами" – семнадцатой "а" и "три-пять". Здесь можно пройти целых триста метров и все не не наткнуться на забор. Бараки в большой зоне двухэтажные, и какое позабытое и необыкновенное, сказочное удовольствие для зэка – из окна второго этажа впервые за долгие годы посмотреть вдаль и увидеть линию горизонта... Какое удивительное впечатление производит высокий потолок в лагерной столовой (неужели бывают на свете высокие потолки?) : столовую не портил, а скорее украшал огромный плакат, на котором плачущий субъект желтого цвета выставлял прямо на обеденные столы кривой палец с отлично вырисованным грязным ногтем и спрашивал (подпись внизу плаката) : "Обдумай, все ли ты сделал, чтоб пересмотреть свои убеждения?".

Великолепная зона, мечта всякого политзэка. Здесь высокие заработки. Купить на них, правда, ничего практически нельзя, кроме книг "Книги-почтой", так как деньги до дня освобождения хранятся на лицевом счету заключенного в управлении МВД: зэк кредитует свою тюрьму без процентов (все расходы, не только на его питание и одежду, но и на оплату надзирателей, офицеров и караульных собак вычитаются из его зарплаты в виде особого налога в 50 процентов заработка). Но все равно и оставшаяся половина зарплаты у обычных зэков пропадает: они пропивают ее на радостях после "освобождения". Политики-то, конечно, так не делают...

Едва устроившись, знакомлюсь с обитателями новой клетки. Здесь, по сравнению с "малой зоной", множество людей: свыше трехсот человек (хотя и отсюда многих уже увезли на Урал).

Сначала отыскиваю земляков, евреев. Один из них, художник Борис Пэнсон, осужденный на 10 лет по знаменитому "самолетному" сионистскому делу в 1970 году, знакомит меня со своим близким другом. Это Говик Копоян, крепыш, с орлиным носом, летчик "Аэрофлота" на линии Ереван – Москва, один из самых дерзких агентов-связников

ЦРУ в Советском Союзе. Другой сионист, стоматолог Михаил Коренблит, член Всесоюзного координационного комитета сионистов (7 лет строгого режима) подводит меня к двум армянам – они попросили его представить их мне.

Один из новых знакомых похож на восточного Дон-Кихота: черты тонкие и вдохновенные, нос с горбинкой, щеки впалые, фигура костлявая, сам черный-черный, как вороненок! (После узнал, что он был болен язвой желудка.)

– Вы не помните меня? – спрашивает.

– Нет...

– Я стоял тогда на этапе со Стефой Шабатурой.

– Так это был ты! – сразу перехожу на "ты", сразу его вспоминаю. Конечно, я его помню!

...Полгода назад везли меня после "перевоспитания" из Саранского следственного изолятора КГБ обратно в зону. На станции Явас – перегрузка зэков из вагона в автозаки. Была жуткая грязь, и "воронок" не подъехал близко к вагону, как положено, а остановился вдали, за поворотом дороги. Конвою было лень меня вести до машины, как опять же положено, и прапорщик громко скомандовал: "Хейфец, иди сам!". Я тащился со своими чемоданами книг. На излучине дороги, где стояла большая толпа ждущих посадку в вагоны заключенных, приметил два лица, непохожие на блатные физиономии. Впереди, рядом с дорогой, стояла молодая женщина с измученным пепельно-серым лицом и седой прядью волос, пересекавшей голову. Рядом с ней стоял юноша ярко-восточного типа, запомнились его кавказский нос и ослепительно черные глазища. Он посмотрел на меня, както избочив голову, словно старый скворец в клетке, наклонился к женщине и что-то сказал ей. Она выступила вперед: "Вы – Хейфец?" – "Да". – "Стус у вас в зоне?" – "Да" – "Как он?" – "Мы приняли его как брата". – "Передайте ему: я – украинская художница, меня зовут Стефания Шабатура. У меня отобрали в зоне при обыске все рисунки. Грозят сжечь. Я объявила голодовку протеста, сегодня голодаю десятый день. Меня наказали: везут на шесть месяцев

в ПКТ". В этот момент я заметил, как надзиратели сорвались с места возле вагона и рысью побежали за мной вдогонку. Кивнул Стефе и пошел к машине, изобразив, якобы отдохнул в дороге, чемоданы тяжелые... Менты остановились.

Через неделю информация о Стефе Шабатуре ушла с зоны на волю.

– ...это я сказал тогда Стефе, вот идет Хейфец, передай ему сообщение для Стуса. Нам про вас много писал Паруйр, мы знаем, что вы – симпатик НОП.

– Размик Маркосян, – называет нового товарища Коренблит.

– А это – Азат Аршакян, вы, наверное, о нем слышали, – в свою очередь представляет второго армянина Размик.

Азат выглядел обыкновенным красавцем: лицо мужественное и одновременно мягкое, смелое и лирически-задумчивое. "Лев с сердцем милого ребенка" – назвал его кто-то в зоне. Фигура и под серой робой такая, что любой скульптор захочет пригласить ее обладателя поработать моделью для статуи героя. Мускулы... Не советую никому понапрасно задевать Азата – силы и мужества хватит, чтобы шутя одолеть любого наглеца.

Азат был главным партнером Паруйра по работе в Мордовии. Едва приехав этапом в Мордовию, он встретил в самых "воротах" лагерной полосы, на пересылке станции Потьма, сиониста, стоматолога Азерникова, который сразу ввел новичка в схему отношений с гебистами. "Они будут с тобой говорить вежливо и заботливо, спрашивать, чего ты хочешь, не могут ли они чем-нибудь помочь, а ты помни: перед тобой враг. Он выискивает твои слабые точки. Спросят, а какую зону хочешь – называй ту, в которую не желаешь попасть..." и т. д. Не велика мудрость, а и ей нужно научиться: в зоны обычно поступают хорошие, честные, доверчивые люди, им сразу-то трудно понять звериные нравы мира, в котором предстоит жить. Азат оказался способным учеником, и когда его вызвали на первое "прощупывание", зая-

вил: "Я хочу в большую зону. Хочу много денег заработать, вообще я человек компанейский, мне трудно в малой зоне". – "Но ведь в малой зоне у вас будет земляк, Паруйр Айрикян". – "Ну и что? Разве это один мой земляк в Мордовии? Найду себе и других. Я его мало знаю и вообще не люблю этого Айрикяна".

На следующий день его этапировали... конечно же в малую зону, к Паруйру. Что они там натворили, о чем договаривались – не знаю, мне не рассказывали. Но уверен: не случайно их очень скоро раскидали из этой зоны в другие и кому-то крепко влетело за промах; таких двух молодцов вместе сажать!

– Мне Паруйр много рассказывал о вас, Азат!

Вроде легкая тень проскользнула по загорелому лицу Аршакяна. Я отметил ее про себя, но не спросил ничего. В Азате без ошибки угадывался прирожденный конспиратор: лишнего не скажет даже близким людям.

Не от него, от Размика впоследствии узнал о сложности отношений Азата и Паруйра в эти месяцы.

Азат был в то время на положении досрочно помилованного: срок его освобождения наступал примерно через полгода вместо положенных семи лет по договору. Паруйр как командир дал ему команду вступить в игру и инструкцию, как ее вести. Азат провел операцию успешно, выполнил приказ точно, то есть добился "помиловки", ничем себя не скомпрометировав, – в рамках общей игры ГБ по "обезвреживанию" опасных армян. Неожиданно он получил новый приказ Паруйра (видимо, после ухода на Статус Баграта Шахвердяна): отменить все игры, все переговоры и сидеть в зоне дальше. Возможно, Азат выполнил бы и это распоряжение, но межлагерная почта по необходимости предельно краткая, по ней может пройти информация или приказ, но не подробное обоснование, мотивация приказа. Азат – не мальчик, которым можно командовать, как оловянным солдатиком. Получив непонятный ему приказ поломать все добытое в тяжелой игре с гебистами и вдобавок после

этого попасть в положение много худшее, чем до начала игры, Азат взбунтовался. Раз Паруйр сам позволил ему решать, как далеко в игре можно зайти, он отказался прекратить переговоры и аннулировать "помиловку".

В этом конфликте я был душой на стороне Азата, а не Паруйра. Через несколько месяцев Паруйр так обосновал свою позицию.

– Азат – очень хороший командир. Без образования, но самые умные у нас люди говорили, что – замечательный человек. Но в той игре он своевольничал. И будет за это наказан. Как мог уйти из зоны, зная, что его боец, Размик, отказался уходить и остается? Какой же он командир, если оставляет своих солдат в плену, а сам уходит на волю.

– Но ведь он выполнял твой приказ, – возражал я. – А Размик ослушался приказа, когда отказался идти на маневр. Почему Азат должен отказываться от выполнения твоего приказа и подчиняться решению своего подчиненного – Размика?

– Я отменил приказ.

– Если ты признаешь, что Баграт и Размик имели право не подчиняться решению НОП и остаться в зонах, ты должен признать право Азата не подчиниться твоему второму приказу и из зоны уйти.

Айрикян оборвал разговор: в конце концов, речь шла о внутренних делах и отношениях в армянской части НОП, а я тут был человеком посторонним. Но хотя сердился на меня за то, что поддерживаю не его, а Азата, но, по странному устройству человеческой натуры, и радовался тоже: ведь Азат был красой и гордостью НОП, Паруйру приятно было, что его товарищ пользуется такой любовью и уважением на своей зоне.

Действительно, авторитет Азата был громадным. Выше я писал, как относятся в зонах к тем, кто подал "помиловку". Если Паруйру общественное мнение семнадцатой "а" позволяло ездить с гебистами на легковушке, то Азату "верх" девятнадцатой зоны позволил совершить куда более

предосудительную вещь – не просто написать, а ПОЛУЧИТЬ "помиловку". Любого другого семья политзэков отторгнула бы от себя, но Азат оставался всеобщим любимцем.

Вспоминают, что в эпоху французской революции женщины вольнолюбивого настроения одевали нескромные одежды и вешали на грудь табличку с надписью: "Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает". Вот такая же надпись незримо украшала "помиловку" Азата Аршакяна. Все верили: раз Азат решил ее принять, значит, так надо для НОП: ни слабости, ни трусости, ни отречения от себя здесь не видели его товарищи.

По-иному вел себя Размик. Он тоже мог вступать в переговоры с гебистами (и не раз с ними разговаривал), мог убеждать их в справедливости позиции НОП, упрекать, что они, армянские гебисты, плохие патриоты, но... но получать после этих разговоров какие-то выгоды отказывался. Достоинство и честь заключенного не разрешали ему торговаться с теми, кого он считал палачами своего народа.

Кстати, и на суде они вели себя подобным же образом. Криминал их деяний оказался несравнимым: Азат командовал целой группой боевиков НОП, в его распоряжении была подпольная типография, он лично поджигал портрет Ленина вместе с Размиком Зограбяном, своим бойцом и подельником. Прокурор требовал для него максимум – двенадцать лет (семь лагеря и пять ссылки). Зато интеллигентный Размик на фоне этой боевой группы подельников выглядел относительно безобидным, и для него прокурор запросил минимально возможную "меру" для политзаключенного – четыре года лагерей. Однако погулявший в делах Азат вел себя на суде относительно скромно, зато Размик решил развернуться именно тогда, когда увидел врагов лицом к лицу. Поэтому судьи сняли два года ссылки с запрошенного прокурором для Азата и... добавили их к приговору Размика. Чтобы суд давал срок больший, чем просит КГБ, – большая редкость. Темпераментный Размик этого добился.

Когда гебисты вели операцию "Помиловка", они гово-

рили Айрикяну: "Надо уговорить Аршакяна, о Размике нечего беспокоиться. Размик – солдат Азата, сделает все, что тот ему прикажет". До сих пор удивляюсь: неужели они так худо понимали характер своих подопечных? Или просто проверяли Паруйра и его реакцию на их блеф?

Несмотря на разногласия обоих моих новых друзей-армян, они всегда держались вместе. Богатырь Азат опекал слабого от природы Размика, как старший брат. Размику, болевшему язвой желудка, трудно давалась норма. Время от времени его карали – сажали в карцер. Когда надзиратель приходил с постановлением и уводил Маркосяна в штрафной барак, Азат на следующий день неукоснительно не выходил на работу. Мера наказания за прогул полагалась неизменная – карцер, и хотя администрация знала, что Аршакян помилован, что он, в сущности, уже не заключенный, но не карать карцером за прогул – было свыше ее возможностей, и Азата отправляли в карцер сидеть вместе с Размиком.

Это была привычная схема событий. Но однажды друзья-ноповцы поменялись ролями.

Накануне 7 ноября, большого большевистского праздника, в зону привезли в тайнике проект "Статута советского политзаключенного". Уже в Израиле я прочитал в журнале "Континент", что этот документ, где излагались основные внутритюремные требования политзаключенных, разработали представитель лагеря особого режима Эдуард Кузнецов и "идеолог" лагерей строгого режима, украинец Вячеслав Чорновол. Гебисты почти сразу узнали, что в зоне происходит какая-то возня, связанная со Статутом: его после переправки в "зашифрованном" виде нам предстояло дешифровать, переписать набело, словом, привести в читабельное состояние. Началась охота за документом: повальные обыски в цехах и секциях и т. д.

Видимо, ГБ в чем-то заподозрил Азата: в то время он как раз готовил акцию вступления "симпатиков" в НОП (заявления, которые мы отдали Паруйру, еще не были опубли-

кованы, не представлены общественности. Датой опубликования Айрикян наметил 5 декабря – день тогдашней конституции СССР). Азат, по моим подсчетам, договорился о вступлении в НОП не меньшей группы "симпатиков", чем сам Паруйр. Возможно, получив донесение об активном поведении Аршакяна, гебисты решили, что он наверняка стоит в центре подготовки акции, связанной со Статутом политзаключенного. Может быть, именно ему доверено вывезти проект на волю? Не знаю, об их намерении можно только гадать. Просто схватили вдруг Азата и увели в карцер – на 10 суток, если память не изменяет. Немедленно объявили невыход на работу и тоже попали в карцер Размик, а вместе с ним Василь Стус, "симпатик НОП".

Что делать? Поговорили мы с Сергеем Солдатовым и тоже решили объявить невыход на работу. Тоже отправиться в карцер.

Я боюсь, что мои западные читатели, просмотрев эту рукопись, решат – если поверят мне, – что в наших зонах сидели какие-то бойцовые петухи, рвавшиеся в акции протеста и карцеры по поводу и без повода, лишь бы поразмять косточки в противоборстве с начальством. Так, задорно и неразумно, действительно, вели себя некоторые зэки, но не мой круг друзей. Я-то сам просто не любил акции протеста, голодовки, не видел в них смысла – говорю с тем большим правом на это, что ни одной не пропустил, во всех участвовал. Просто ощущал себя в зоне пленником шайки разбойников, банды гангстеров, а какие могут быть акции протеста в общении с гангстерами? В те дни, когда мы с Сергеем Солдатовым решили объявить голодовку протеста и невыход на работу в поддержку Азата и Размика, мне до ужаса не хотелось влезать ни в какую акцию. Борис Пэнсон, уже упоминавшийся сионист-"самолетчик", организовал "канал" из лагеря на волю, и я как раз в эти дни писал свою первую лагерную книгу-дневник (под названием "Место и время" она вскоре вышла в Париже, в издательстве "Третья волна"). Мой персональный стукач-"опекун"

в эти дни уехал лечиться на больницу, получил за меня, так сказать, гонорар и проедал его подальше от моих глаз; второй стукач, опекун по цеху, тот на самом деле заболел. Господи, какое везение, неужели такие дни терять на акции протеста, на голодовки и прочее, а после них лезть в карцер, когда можно писать, писать, писать! Ох, как не хотелось. Но существует в зонах чувство почти инстинктивное: когда карают друзей, намного труднее остаться в стороне, чем вмешаться. Это не литература, я видел это собственными глазами и сам это ощущал. Говорят, то же бывает на войне, и люди идут добровольно на гибель, чтобы выручить товарищей. Трудно поверить, но нестерпимо худо, хуже борцов, чувствовали себя именно те, кто оставался в стороне от стычек с администрацией: они не очень и скрывали это. К счастью, планы гебистов почему-то переменились: получив наши заявления, они неожиданно сократили срок карцерного сидения Ашота, Размика и Стуса и выпустили их; Размика и Стуса перевели на больницу, благо повод всегда имелся – язва желудка, а Азату сократили срок тоже под предлогом нездоровья (у него, кажется, больна нога – после автопроисшествия с мотоциклом).

В чем дело? Мы с Сергеем сосчитали, что гебисты просто хотели слушать, о чем будут говорить Азат со Стусом, и наверное, решили, что задача уже выполнена, а провоцировать общелагерную голодовку протеста в их цели не входило. Тороплюсь к Азату, поделиться своими соображениями.

– Вас, наверное, подслушивали.

– Навэрно, – глубоким гортанным баритоном подтверждает спокойный-преспокойный Азат, словно вышел не из карцера, а из ванной. – Когда привэли в трэтью камэру, мент стал возражать: сюда нэльзя, в нэй замок испорчэн. Офицэр ему сказал: прыказано обоих только в третью.

– Значит, ничего лишнего не сболтнули?

– Нэ пэрвый день замужэм...

Очаровательная у него была улыбка.

Так я смог вернуться к своей книге.

Остался у меня в памяти рассказ Азата о старом Ереване: как познакомился со своей Каринэ, как дрался из-за нее с каким-то жутким хулиганом, громадиной, "я даже испугался", но тот испугался первым. Новый мир открывался мне: кланы улиц и дворов, парни с ножами и кастетами, родовые счеты...

— Так хочется поговорить о любви. Кругом борцы, о чем они говорят: только о политике. Скучно, Миша, расскажи мне о любви...

Запомнилась его фраза о каком-то кавалере, посмевшем поухаживать за его любимой Каринэ. Она-то, смеясь, выгнала соперника, но Азат высказался очень сурово: "Каринэ, конечно, молодец, но куда смотрели мужчины моего рода!".

Род! Для меня это звучало экзотикой...

* * *

С Азатом Аршакяном связана полудетективная история, в правдивость которой я бы сам с трудом поверил, если бы она не произошла именно со мной. Азат тогда крепко помог мне. Перескажу ее вкратце, поскольку она помогает увидеть Азата в действии.

Уже упоминалось, что в лагере я писал книгу про обитателей зоны и собственные размышления по поводу виденного... В декабре 1976 года, в день, когда она была закончена, произошла катастрофа: во время жестокого бурана у меня выдуло ветром из кармана несколько листков рукописи и через колючую проволоку унесло за запретку. Оставалась последняя надежда, что зэков пошлют убирать снег возле забора, и я сумею незаметно подобраться к бумажкам и подобрать их. Когда же в окно цеха увидел, что посланы убирать снег солдаты с лопатами, сообразил, что гебисты явятся ко мне очень скоро. Восстановил утраченные страницы, отдал для переправки на "канал", а сам стал дожидаться нового ареста и следствия.

В тот же день к вечеру меня под конвоем увели в штаб на допрос. Но после обыска и допроса не изолировали в тюрьму, а... выпустили обратно в зону.

Не должны они были такого делать! В чем их план? Начинаю продумывать их варианты. Единственное, что пришло в голову: на зоне у ГБ есть такой информатор, который способен, по их расчетам, выяснить у меня, где спрятана основная часть рукописи.

Вычисляю возможного информатора. "Вычисленное лицо" действительно приходит ко мне и задает совершенно неприличный в лагерных условиях вопрос о судьбе рукописи. Тогда я, волнуясь, в тревоге, шепотом, сообщаю ему на ухо заранее продуманную версию: заметив пропажу листочков, я пошел в кочегарку к Азату Аршакяну и там сжег рукопись. (Конечно, заранее я побывал у Азата в гостях на рабочем месте, позаботился, чтобы меня там видели стукачи – в кочергарке всегда работают стукачи, тем более, когда требуется наблюдать за Азатом.)

Еще через день на этап дергают четырех зэков с вещами. Значит, на дальний этап. Кого же увозят с зоны? Во-первых, меня, явного подследственного. Во-вторых, Сергея Солдатова – его, конечно, подозревают, что он "хозяин канала" (на самом деле "хозяином канала" был, как упоминалось выше, сионист Борис Пэнсон). В-третьих, Азата Аршакяна. Это явный "свидетель". Не могу понять, зачем везут четвертого в нашей компании, Виталия Лысенко. Возможно, его посадят ко мне в следственную камеру, чтобы было с кем разговаривать, а гебистам – нас слушать.

Такова примерная диспозиция схватки.

Слабость моего варианта в том, что я не успел договориться о нужных показаниях с Азатом. Понимал, что первые дни после выхода с допроса мои контакты будут, по мере сил ГБ, просматриваться тщательно и потому избегал встреч наедине с Азатом: хрен их знает, вдруг они для такого случая установили в кочегарке "подслушку"?

Но вот нас запихивают в автозак-"воронок". Здесь-то

подслушек наверняка нет, но зато сидит Виталий Лысенко. Не хочется думать плохо о человеке, но ведь он не диссидент, посажен по "шпионскому делу", ждать освобождения еще пять лет – не стоит ставить человека в соблазн купить себе сокращение срока, да еще такого сумасшедшего срока, передав следователю информацию, которую он случайно услышал и хранить которую никому не обещал. Поэтому, прижавшись к Азату в "воронке", одними губами шепчу ему в ухо, пользуясь тем, что грохот мотора на ухабах перекрывает все:

– Тебя будут спрашивать, сжигал я у тебя что-то в кочегарке? Подтверждай.

– Понял, – выдохнул он: я сам еле расслышал.

В саранской тюрьме все, к счастью, происходит по продуманной диспозиции. Солдатова и Аршакяна, свидетелей по делу, отсаживают от меня аж через пустую камеру (чтоб не перестукивались) – но поздно, поздно, мы договорились в "воронке", а со мной сажают Виталия Лысенко: мне организуют собеседника и, естественно, "третье ухо" следователя.

Дальше – просто. Я изображаю перед следователем "корыстного еврея" (схема, на которую они, люди обычно недоверчивые, клюют легко), требую посылку, передачу, продуктовые подарки от ГБ на Новый год, который мы встречаем в камере, требую свидания, а взамен – "колюсь". Конечно, не сразу, а только после намеков следователя, что рукопись "испарилась с дымом". Сломленный "всезнанием следователя", я, в сущности, соглашаюсь только признать то, что он и без меня уже знал – о, они все знают! – а именно, что сжег рукопись у Азата в кочергарке. "Интеллигентный человек, а смотреть на вас сейчас неприятно", – сказал следователь, сидевший на "контроле" моих реакций, когда я картинно изобразил сломленность перед осведомленностью и силой КГБ. Конечно, недаром – иначе они бы заподозрили неладное; я получил и свидание с женой, и бальшую передачу от нее, никак не ограниченную положен-

ными пятью килограммами. Попутно выспросил у следователя, как чувствует себя Азат, и узнал: он обижен на Каринэ. Недогадливая жена не сообразила, что мужу в тюрьму можно отправить внеочередную посылку. Я-то понимал ее – срок Азата истекал через два-три месяца, она уже мысленно ждала его дома и отключилась от тюремных порядков, но это *я* так рассуждал, а Азат гневался. Мне удалось выпросить у гебистов еще одну награду за "хорошее поведение": половину моей передачи разрешили отнести в камеру Азата и Сергея.

Встретились мы с ними нескоро: несколько месяцев прошло в тот раз в Саранске. Только на этапе, на обратном пути, увидели друзей. Азат сказал, что он расстается с нами надолго: его срок кончался. Прямо из Саранска его везли в Москву, оттуда в Ереван – на освобождение. Помнится, всю дорогу просидели, обнявшись. Стыдно признаваться в этом взрослому мужику, но кажется, тюрьма пробуждает сентиментальность и обнажает чувства даже у людей, несклонных открывать себя при публике.

– Спрашивали про рукопись, Азат? – уже можно не стесняться, говорить откровенно, я уверен, что за эти месяцы книга "Место и время" успела уйти за "забор".

– Конэчно. Я ответил: ничего нэ видел, ничего нэ знаю. Как вы можете спрашивать про такое.

Какая умница! Вот в таких ситуациях и понимаешь, почему его в делах так ценили товарищи. Предложенный мною вариант его показаний – "признание" – был грубым. Гебисты не гении сыска, но не дураки, у них могло вызвать подозрение, почему такой человек, как Аршакян, добровольно и ни в чем больше не нуждаясь, дает показания, уличающие Хейфеца. Могли заподозрить наш сговор. Вариант Азата оказался гораздо тоньше. Во-первых, он говорил им чистую правду: он на самом деле ничего о рукописи не знал и видеть ее мнимого сожжения не мог. Во-вторых, зная психологию работников "органов", вызывал стопроцентно их подозрение: врет, подлец, темнит, скрывает

правду, как Хейфец у него рукопись сжигал, боится ответственности...

– Мартынов спрашивал меня: ну, а вообще он мог у тебя сжечь рукопись? Отвечаю: конэчно, мог. Сидеть – Хейфец у меня в кочегарке сидел, приходил по делу. Я отходил от топки, угля набрать. За это врэмя в такой топке целого быка зажарить можно...

Правду сказал гебисту Азат – и утвердил ею нашу версию лучше, чем любыми сочиненными показаниями.

Но вот гудок. Станция Потьма. Прощай, Азат!

Напоследок прошу передать на волю свои подозрения о "вычисленном лице", передавшем, по моему мнению, информацию гебистам. Пусть поберегутся.

– Передам, что есть и такое мнение, – деликатно отвечает Азат. Он знает, как легко бросить подозрение на товарища, он боится опорочить нечаянно друга. Какой славный боец!

Иногда пишут, что когда кому-то из заключенных удается уйти на свободу досрочно, товарищи завидуют и злобствуют. Наверное, это правда, и среди бытовиков такое встречается. Но когда уходил Азат, он оставлял позади друзей, счастливых, что ему вскоре доведется увидеть Каринэ, Ереван, Айастан, Арарат.

– Пусть твой сын продолжит твой род так, как его продолжал ты, – желаю ему на прощанье. Он остается в вагонзаке, нас уводят на пересылку.

Когда мы вернулись на девятнадцатую зону, "вычисленного лица" там уже не оказалось. Его помиловали за несколько лет до конца срока.

Что ж, хоть какой-то был практический результат от моей книги. Высоко, однако, ее ценили гебисты!

СТОИМ НА СТАТУСЕ

На зоне нас ожидает масса новостей. Первая, которую Сергей узнал еще на этапе, а я уже по прибытии: в честь предстоящего Белградского совещания 35 государств Европы и Северной Америки по проверке выполнения Хельсинкских соглашений политзаключенные зон строгого режима решили выстоять сто дней на Статусе политзаключенного СССР.

Что такое – отстоять сто дней на Статусе?

Первое – мы не будем выходить сто дней на подневольную работу. Мы не рабы и, кстати сказать, не лодыри, которых требуется "исправлять трудом" в тюрьмах. Мы будем работать, но требуем права самим выбирать себе вид работы.

Второе – мы отказываемся ходить на принудительные мероприятия, например, на ежедневные идиотские политзанятия, на бессмысленные проверки, не маршируем строем в столовую.

Третье – мы снимаем арестантские нашивки. (Правду сказать, особого смысла в этом требовании я не видел, наоборот, нашивка удобна при неизбежных контактах с надзирателями, но – не я принимал эти требования, а вступил в уже подготовленную акцию.)

Мы были не первыми статусниками, но до нас зэки вступали на Статус политзаключенного "до конца срока" и переводились после неизбежного нового суда во Владимирскую крытую тюрьму, а там регулярно наведывались в тюремные карцеры. Наши же организаторы решили ограничиться Ста днями протеста в дни Белградских заседаний.

Опять же, если б спросили меня, я возразил бы против Ста дней уже не как зэк, а как историк: ведь Сто дней (придуманные, видимо, по аналогии со Ста днями Наполеона Первого) начались славно, но кончились поражением. Не люблю такие ассоциации...

Нам не грозило трехлетнее заключение в тюрьму – нас оказалось слишком много, и отправить нас во Владимир – значит, лишить работы местных кагебистов. Не станут же они рубить сук, на котором зарабатывают себе чины и прочие блага. Но Сто дней нам придется отсидеть в карцерах – к этому мы были готовы.

Одно меня смущало в предстоящем "великом карцерном сидении", а именно: к акции присоединился Размик Маркосян.

Правду сказать, сидеть в карцере коллективом намного легче, чем в одиночестве. Мы переговаривались в голос всем бараком и в ответ на предупреждения надзирателей: "Прекратить разговорчики!" – откликались дерзко: "Начальник, мы на Статусе, мы не признаем ваших законов". Их наше заявление мгновенно лишало речи... В общем, жить было можно, а что голод и холод, и нет постели, и прочее – так на то он, карцер, и придуман, чтобы зэку было худо. Но существует в карцере момент, который я бы назвал тяжелым свыше обычной меры.

Это – и пусть читатель простит меня за прозу низкой жизни – посещение туалета карцерниками, страдающими болезнями желудка.

С "легкими делами" в карцере нет проблем: поставлен высокий бак с ручками, знаменитая вонючая "параша" – и можешь освобождать себя от жидкости на глазах у публики сколько хочешь. Если у "параши" крышка целая и запахов не пропускает (что бывает не всегда, но тут уж, братец, бунтуй – имеешь законное право требовать от начальства "парашу" с целой крышкой) – и Бог с ними, с "легкими делами". А вот для существенных "тяжелых дел" заключен-

ных выводят в туалет раз в сутки, в семь утра. Поразительно, что желудок и кишечник здорового зэка беспрекословно повинуются расписанию, утвержденному для них начальником ГУИТУ (в девичестве звавшегося ГУЛАГ): ровно в семь они работают как приказано – и раз в сутки. Но вот больные желудки и кишечники бунтуют, не слушаются указаний генерал-полковников – и потому горе их обладателям в карцерах (ШИЗО)!

У Размика, напоминаю, была язва желудка.

В принципе, больной товарищ – обуза для коллектива в карцере. Благоразумней было бы в нашей стодневной схватке с начальством оставить Маркосяна в "тылу". Но где там, разве отважный и пылкий армянин мог остаться в стороне, когда весь лагерный "верх" взбунтовался! (Один Борис Пэнсон не встал на Статус политзэка: у "хозяина канала" была слишком важная функция, он не мог компрометировать себя "нарушением дисциплины".)

Начальству ужасно хотелось доказать, что оно сильнее статусников, что сойдут они со Статуса раньше намеченных Ста дней, а особенно им хотелось добиться хоть какого-то успеха до намеченной голодовки протеста ко дню открытия Белградского совещания. Это стало для них в какой-то мере даже вопросом личного самолюбия! Сила они или не сила! Как всегда, когда планируется атака, объектом первого удара избирается слабый пункт обороны противника. У нас такой слабой точкой оказалась язва Размика Маркосяна.

В первый месяц карцерного сидения его таскали в ШИЗО почти непрерывно: только выведут, даже несколько часов иногда не позволят в зоне пробыть – и снова тащат в карцер на очередные 10 или 12 суток. Помню, что в первый месяц с начала Статуса он получил 25 суток карцера: это много, потому что вначале нас вообще не сажали, а провели через все ступени положенных наказаний: выговор, лишение закупки продуктов, лишение свиданий и т. д. Только на пятый день угостили карцером – и пошло, поехало... Размик,

с его больным желудком, никак не мог войти в карцерный ритм "оправки": дважды, если не изменяет память, его в бессознательном состоянии уносили на руках в лагерную амбулаторию, промывали кишечник и... возвращали в карцер, едва он приходил в сознание.

– Умрет! – угрожали мы начальству. – Вы будете отвечать!

– Умрет! – соглашалось начальство. – Вы сами будете отвечать за его смерть перед своей совестью. Уговорите его сойти со Статуса!

Господи, мы бы и рады... Как будто кто-то из нас мог кого-то уговорить! Может, Паруйру, как командиру НОП, это было под силу, но его тогда не было в карцере, еще не привезли, а так – мы же не были иерархией начальников и подчиненных, где кто-то мог кому-то приказать. Такого борца, как Размик, мы могли уговорить вступить в бой, это было в наших силах – но уйти из боя, нет, такого авторитета в его глазах никто из нас не имел.

Когда его повели в карцерный барак в четвертый раз подряд, из камеры лагтюрьмы раздался вопль маркосяновского друга, "зэковского генерала", как прозвал его начальник лагеря Пикулин, – Вячеслава Чорновола:

– Ребята, слушайте! Они замучают Размика! Я не могу этого допустить, у меня с ним особая дружба, еще с "тройки". Я перехожу на бессрочную голодовку, требуя перевести больного Размика в больницу!

(Переход в больницу сразу освобождал Размика от выполнения всех требований, несовместимых со Статусом: там не выводят на работу, не слушают политзанятий, не ходят строем на проверки, и т. д. Находясь в больнице, Размик мог стоять на Статусе и не подвергаться репрессиям.)

Услышав вопль Чорновола, я взбесился! Враг только этого и ждет, чтоб Чорновол тоже заболел. Человек безумной смелости и инициативы, он, на мой взгляд, не обладал достаточной расчетливостью, хитростью и предусмотритель-

ностью. Он будто создан для того, чтобы время от времени попадаться в капканы*.

– Начальник, – кричит на весь коридор Чорновол, – дай карандаш и бумагу! Нужно подать заявление.

– Заткнись! – взрываюсь я. – Один ты, что ли, благородный? Один ты любишь Размика? Прекрати истерику! Дай подумать...

К счастью, не я один умный и вовсе не самый умный в этой компании. В коридор, обысканного после зоны, вводят до Размика Бабура Шакирова, турка из Ташкента. Не успев дойти до камеры, он кричит:

– Голодовать за Размика собираетесь?

– Да! – отзывается Чорновол.

– Владимира Николаевича скоро приведут сюда. Он просил без него не начинать. Есть идея.

Часа через полтора завели после "пересменки" между двумя карцерными сроками и самого Владимира Николаевича Осипова, лидера русских националистов. Оказывается, у него в зоне возникла та же идейка, которую тихо вынашивал мой усталый мозг в камере. Хорошо понимать друг друга с полуслова: несколько намеков, восклицаний, английских слов (непонятных надзирателям) – и Чорновол уловил замысел нашей операции. Ум у него цепкий, прирожденного журналиста, реагирует сразу:

– Спасибо и извините. Знаю, что Размика любят все. Действую по общему решению.

Дело в том, что Осипов вспомнил: на следующий день должно было торжественно начаться обсуждение проекта новой, "брежневской" конституции СССР (к слову – четвертой конституции за 60 лет). Если бы мы объявили *все* бессрочную голодовку в такой день, да еще предъявив не по-

---

* Чорновол сидел в первый заход 1,5 года, в тот заход – 9 лет лагеря и ссылки. За месяц до конца своего девятилетнего срока он в ссылке попался в расставленную гебистами ловушку и угодил еще на 5,5 лет – за мнимое "покушение на изнасилование".

литические, неосуществимые требования, а вполне конкретное пожелание поместить язвенника в больницу на обследование, и если бы это стало известно западным корреспондентам, это могло скомпрометировать лагерное начальство.

Поэтому утром все 15 статусников легли на "голодовочный дрейф" без срока, и на стол к начальнику зоны легли 15 заявлений с требованием перевести язвенника в больницу. А чтобы "катализировать реакцию", я с семитской хитростью сочинил два дополнительных трюка.

Во-первых, написал заявление, что прекращаю голодовку в связи с переводом Маркосяна в больницу, и показал его заранее надзирателю.

– Как его уведут, сразу отдам тебе в руки.

(Всегда полезно поманить издали лакомой бумажкой, не отдавая ее в руки.)

Во-вторых, зная, что камеры снабжены "подслушками" и в такой день опер наверняка не отходит от транслятора, я стал возле микрофона разыгрывать перед соседями воображаемый разговор, который ожидает майора Пикулина "на ковре" у начальника управления.

– Западные клеветники сообщают, что у тебя в день всенародного праздника голодовку начали. Куда смотрела оперативная часть?

– Неожиданно, товарищ полковник...

– Неожиданно, е. т... м...! Что там такое?

– Просят отправить на больничку одного армяшку.

– Больной, что ли?

– Да ничего у него нет. Хроник.

– Что врач говорит?

– Язва желудка.

– Так какого х.. ты крутишь! – начальнику управления нет дела до планов Пикулина, как удобнее ломать статусную акцию. – Из-за этого п..... на весь мир нашу страну позоришь! Его – на больницу, остальных наказать. Сам разобраться не можешь, Пикулин? Не готов, что ли, на более самостоятельную работу?

Захочет ли получить такой разговор майор Пикулин?

...За четыре года лагерной жизни я не упомню столь мгновенной реакции. Мы еще успели отказаться от завтрака, а обед уже приняли в камеры.

Перед обедом раскрывается "кормушка":

– Хейфец, давайте ваше заявление!

Это надзиратель.

– Так Маркосян же еще в камере!

– Уже собирают в санчасть.

В карцер Размика больше не приводили. Из санчасти увезли в больницу, а оттуда – в Ереван.

* * *

Но до его отъезда мне удалось встретиться с Размиком еще раз: я успел выйти на "пересменку" между двумя карцерами и увидел его слоняющимся по зоне: из санчасти Маркосяну разрешили выходить на прогулку.

Встреча эта, неважная для него, оказалась очень значительной для меня: она по одному случайному намеку раскрыла мне загадочную до тех пор причину внимания КГБ к моей скромной личности.

Размик так рассказывал о событиях, последовавших за его выходом из карцера.

– В санчасти почти сразу потерял сознание. Пришел в себя – вижу, лежу на больничной койке, а надо мной стоят армянские гебисты. Приехали ко мне из Еревана. Привезли из дома письма и продукты...

Приехали они, конечно, для "душеспасительных разговоров": думаю, поняли, что "обработать" Айрикяна смогут только тогда, когда последний боец НОП окажется на воле.

Повторяю, у армянских гебистов существовало некое фантастическое представление, якобы Хейфец имеет на армян "большое влияние". Не буду скромничать, как ассоциативный член НОП я, естественно, был братом для Паруйра, Размика, Азата, а как человек старший их по возрасту об-

ладал определенным авторитетом, нормальным в отношениях старшего к младшим. Но это влияние имело свои пределы: пока я поддерживал их борьбу, я влияние имел. Стоило мне пойти на невыгодный, несправедливый компромисс с противником, – и мое влияние становилось бы отрицательной величиной. На самом-то деле, если теперь признаваться откровенно, то, наоборот, учился-то я у ноповцев, особенно у Айрикяна; на воле я не состоял в борцах, являлся диссидентом, но лишь в мыслях, не в поступках, и в зоне с интересом вбирал в себя, изучал и пробовал опыт молодых националистов. Не нужно забывать, что я был на воле профессиональным литератором и понимал свое пребывание на зоне как долг писателя: увидеть, запомнить, рассказать. Но отношения объекта и субъекта в литературе сложные, и если литератор изучал борцов, то борцы меняли характер литератора.

Гебисты же из Еревана, заметив мои близкие отношения с армянами, решили, видимо, изучить мое дело тоже – причем не то, которое мне было показано, а ту "ориентировку", которая хранилась для их внутреннего пользования. Но так как они в Ереване не знали, что именно мне известно по делу, а что нет, то случайно проболтались о загадочном и очень важном для меня обстоятельстве.

– ...они стали убеждать меня, – рассказывал Размик, – вот у тебя нет оснований обижаться на органы. Разве мы не делаем все, чтобы уважали армянские национальные чувства? В день памяти жертв геноцида в зоне не играет музыка во время утренней прогулки: это сделали органы. Когда в этот день кто-то голодает в знак траура, его не наказывают: это тоже сделали органы. Другое дело, что мы никому не позволим нарушать советские законы. Но в любом государстве органы правосудия защищают закон. Когда-то при Берии могли нарушать закон, но сейчас другие времена... Вот ты сидишь здесь, видишь, кого мы держим в заключении. Разве среди них есть люди, посаженные противозаконно, невиновные против советского закона? Обижаешься

на нас за НОП? Но мы-то считаем, что НОП приносит вред Армении. Кто что считает, об этом можно спорить, но ноповцы нарушали советский закон, создали тайную организацию, печатали тайные материалы, писали запрещенные законом надписи – а мы защищали закон. Если ты честный человек, должен признать: мы слуги закона и подчиняемся закону. Значит, у тебя нет оснований нам не верить или в наших словах сомневаться.

– "А как же Хейфец" – спросил я их, – продолжал Размик. "А что Хейфец?", – спрашивают. "Хейфец не нарушал законов. Он написал статью, но не собирался ее печатать, она оставалась у него в черновике, положена в архив – за что его арестовали?". Миша, они заулыбались, а потом говорят: "Ты ему больше верь, что он тебе про себя рассказывает. Ты его лучше спроси, в каких архивах он работал и какие документы там читал".

Слушая Размика, я растерялся.

– Размик, – отвечаю, – я писал только о русской истории девятнадцатого века. Ну, еще последнее время – восемнадцатого! Я работал в архивах прошлого столетия. Был один случай, занимался "Делом" 1912 года, но это – самое позднее из моих исследований. Что они имели в виду, какие секреты, которые я рассекретил?

– Не знаю, – с комическим видом пожал плечами Размик, – но говорили очень серьезно.

И вдруг я вспомнил!

За четыре года до ареста, летом 1970 года, попала мне в руки рукопись по истории, написанная, однако, не историком, а математиком, доктором физико-математических наук Р.Пименовым "Как я искал шпиона Рейли".

"Король английского шпионажа" Сидней Рейли – легендарная фигура в советской детективной литературе и кинематографии. Вот только несколько названий киноимя "главного сатаны" Рейли: "Ленин в восемнадцатом году", "Заговор послов", "Операция "Трест", "Капитан "Старой черепахи"... А сколько книжных детективов посвящено

памяти неуловимого английского заговорщика! По советским данным Рейли много лет водил за нос органы советской власти, едва не истребил все ее руководство и чуть не организовал убийство Ленина и переворот в Кремле, но в 1925 году был пойман, когда шел на связь не то с Зиновьевым, не то еще с кем-то из вождей партийной оппозиции, и быстро расстрелян.

Проанализировав все опубликованные в СССР или доступные открыто в советских библиотеках иностранные источники, Р.Пименов пришел к интересному выводу: англичанин Рейли был на самом деле одесским евреем Розенблюмом и состоял на службе не в "Интеллидженс сервис" (или не только в ней), а работал секретным агентом ВЧК – ГПУ, потому и был "неуловимым". Во всяком случае, на уровне гипотезы это доказывалось ученым достаточно интересно. Кончал свою статью Р.Пименов предложением, несомненно ироническим, поставить в центре Москвы мемориальный памятник "Герою незримого фронта Рейли-Розенблюму".

Насмешливый финал привел меня в веселое настроение, особенно потому, что человек, передавший мне эту рукопись, сказал: "Пименов хочет ее напечатать и не знает где, может, посоветуешь?". Я все в том же веселом настроении сел за письменный стол и написал замечания на работу математика в форме "внутренней рецензии в издательство "Самиздат", которому рекомендовал выпустить в свет брошюру Р.Пименова, внеся в нее нужные исторические исправления. Ведь это "издательство" было единственным в стране, способным опубликовать брошюру, разоблачавшую таинственнейшего из вражеских шпионов в качестве гебистской "подсадной утки" для возможных оппозиционеров. Главным исправлением, которое я предлагал сделать, заключалось в том, что Пименов расценивал покушение на Ленина в августе 1918 года как неудачу ВЧК, после которой руководители тогдашней гебухи, чтобы себя реабилитировать в глазах руководства партии, сочинили мнимый "заговор послов" с подставным сверхшпионом Рейли в роли организатора государственного переворота в Кремле. Я же, не от-

рицая возможности такой версии, настаивал, что называть "неудачей для ВЧК" покушение на Ленина следует скорее в одном смысле – неудачей для Дзержинского и К° явилось именно спасение Ленина, то есть промах той женщины, которая в Ленина стреляла, ибо она его только ранила, но не убила*.

Далее я приводил систему доказательств своей теоремы. Когда в 1922 году Верховный суд РСФСР судил организаторов покушения на В.Ленина (и заодно лидеров эсэровской партии), то он, как положено по закону и обычаю, приговорил их к смертной казни через расстрел, но одновременно, уже вопреки всем советским обычаям, ходатайствовал перед высшей государственной властью (ВЦИКом) о замене расстрела... как вы думаете – чем именно? *Немедленным освобождением из-под стражи.* Это я прочел не в каких-нибудь секретных архивах, а в самых обыкновенных исторических журналах. Не знаю, как читатель западный, но мой советский читатель, даже самый правоверный, даже самый-пресамый гебист найдет версию о таком гуманизме советского суда и правительства, при котором организаторы покушения на В.Ленина вообще освобождались от наказания, совершенно невероятной, фантастической. Объяснение могло быть только одно: организаторы покушения на В.Ленина были одновременно секретными сотрудниками органов ВЧК, выполнявшими оперативное задание своего руководства. Мотивов у того могло быть вполне достаточно, начиная хотя бы с самого очевидного: в те месяцы Ф.Дзержинский

---

* Уже в Израиле в журнале "Время и мы", №№ 3–4–5 я прочитал исследование израильского историка из Тель-Авивского университета Б.Орлова, убедительно доказывавшего, что в В.Ленина стреляла, видимо, не Ф.Каплан, которая просто "взяла на себя" чужое дело, а ее товарка по организации Л.Коноплева, любовница вожака организации Г.Семенова. В 1922 году Л.Коноплева вместе с Г.Семеновым была "немедленно освобождена из-под стражи" после окончания суда, приговорившего ее к расстрелу.

являлся политическим врагом Ленина, лидером так называемых "левых коммунистов", и, если верить данным Р.Пименова (у меня не нашлось времени проследить точно ли он цитирует источники, а сам я эту цитату не встречал), глава ВЧК заявлял, что "революция, если надо, переступит и через Ульянова". Ну вот, вполне могла и переступить!

Прочитав этот удивительный приговор в старых журналах, я стал узнавать, что же случилось с освобожденными по гуманности террористами после их выхода из Лубянской тюрьмы. Фамилию Семенова я потом встретил в делах 1937 года – не помню точно, кого именно из самых страшных преступников того времени, кажется Бухарина или бывшего премьера Рыкова обвиняли в связях с еще более страшными людьми – Семеновым и Членовым (этот был дипломатом в Париже). Кем же служил Семенов перед казнью? Писатель Б.Сонкин, автор книги, вышедшей в Ленинграде о покушении на Ленина "Выстрел на Фонтанке", мой коллега по ленинградской секции горкома писателей, сказал, что Семенов был расстрелян в должности не то заместителя начальника иностранного отдела ГПУ, не то заместителя шефа военной разведки Генштаба – точно я забыл, но самому Сонкину доверял – писатель он был более чем посредственный, но зато в архивах добывал документы как редко кто другой и сведения имел первоклассные. Но если организатор покушения на Ленина кончил жизнь на таком посту – это могло означать только одно: он совершал покушение по заданию начальства, иначе ему бы не сносить головы*. Никакие другие заслуги не выручили бы... Следова-

---

*Опять же уже в Израиле мне попался в руки эсэровский сборник материалов, изданных за границей в 1922 году – к процессу. В нем эсэры писали, что, по их сведениям, Г.Семенов был завербован в агентуру ВЧК летом 1918 года, когда он был арестован в Петрограде, а потом выпущен. Вербовал его якобы сам председатель Петрочека С.Урицкий. Если это так, почему же никто не догадался, что покушение на Ленина агента ВЧК могло произойти только с сан-

тельно, говорить о неудаче, о провале ВЧК в деле с покушением на Ленина можно только в том плане, что Ленина недострелили. Примерно так я писал в своей внутренней рецензии, переданной для чтения Р.Пименову. У него она и осталась как память о моих исторических забавах.

Через полгода Р.Пименова обыскали, арестовали и сослали на пять лет в Коми АССР, а мое письмо оказалось в ГБ. Я ждал вызова, его не последовало, и я просто забыл об этом случае. В конце концов, думал я, у гебистов есть более важные дела, чем выяснять, кто на самом деле стрелял в Ленина в 1918 году.

С того года, однако, я повел странный образ жизни. Писал очередную повесть, сценарий, пьесу, сдавал ее в заказавшую инстанцию, рукопись оплачивали полностью по договору, на 100 процентов и – клали на полку. Я ничего не мог понять в этой фантасмагории своей жизни, но так как деньги мне платили, терпеливо делал следующую вещь – с тем же результатом. Думал, может, мои занятия девятнадцатым веком не устраивают начальство, переключился глубже, в восемнадцатый век – с тем же результатом. Так длилось до моего ареста...

На следствии меня спросили о старом письме к Пименову, я даже написал какое-то "объяснение" – и дело забылось. Предполагал тогда, что их интересуют мои контакты с осужденным диссидентом, а не домыслы в истории СССР: мало ли кто и что может высчитать по историческим документам, я-то как профессионал знал куда лучше их, что без точных данных все эти рассуждения практически стоят цену тетрадной бумаги, на которой они написаны.

И только когда Размик вспомнил странные слова армянских гебистов об удивительных архивах, в которых я якобы работал, внезапно пришло в голову: конечно! Поэтому и не печатали меня практически последние четыре года (мелкие

кции начальства? Видимо, потому, что идея такой акции казалась немотивированной.

рецензии не в счет), хотя платили казенные деньги. Редакторы, принимавшие у меня рукописи и одобрявшие их, "были не в курсе", а за принятую рукопись положено платить, но вот публиковать ее необязательно. Как я не догадался раньше! Это у *меня* нет документов об этом деле, а у них документы, вполне возможно, имеются, и они могли предполагать, получив на стол мою рецензию на Пименова, что я *знаю* то, о чем только догадывался, знаю то же, что и они, что каким-то образом докопался, добрался до архивов! Черт этого еврея знает, они прыткие, вдобавок я когда-то по заданию редакции "Звезды" писал мемуары для отставного генерал-майора КГБ, ветерана и, увы, тоже еврея; может, старик перед смертью мне показал какие-то документы, припрятанные им за годы службы? Вот их естественная логика. С того момента, когда они заподозрили, что я знаю об участии их предшественников в покушении на Ленина, судьба моя, видимо, была предначертана. Как написала моя жена в лагерь: "А твоя вина – слишком хорошая память, слишком многое знал и не хотел об этом забыть". Женщина – без политики, а суть поняла куда лучше мудрящего супруга.

– Спасибо, Размик, это очень важно, то, что ты мне сказал, – и я кратко объясняю ему то, что вы здесь сейчас прочитали.

– Приумножая знания – приумножаешь скорбь свою, – напомнил он слова Библии.

– Осужденный Хейфец, вас вызывают в штаб, – разносится по зоне голос из радиопродуктора. Отправляюсь и получаю очередные "сутки" – не то пять, не то шесть, не помню точно, в карцер.

Когда выхожу на зону в очередную пересменку, Размика уже нет. Этапировали в Ереван.

* * *

Последний маленький эпизод, связанный с Размиком Маркосяном.

24 апреля 1977 года, через три дня после перехода на Статус, мы решили провести акцию солидарности с армянами в день их национального траура по погибшим в 1915 году.

Все подали заявления солидарности, но запомнилось мне это маленькое и, в общем, совсем рядовое на зоне событие вот почему.

Среди нас, статусников, был турок. Бабур Шакиров, внук знаменитого лидера басмачей Бухарского эмирата, крепыш невысокого роста, способный и честолюбивый. Родился он в Китае, куда ушли после разгрома басмачей мусульманские бойцы и где они создали свою "Республику Восточного Туркестана". Дед Бабура был ее президентом. После победы Мао Цзе-дуна республику ликвидировали, но дед получил дом и пенсию в советском Ташкенте – видимо, на всякий случай, если Мао придется ставить на место. Внук же его остался в Китае. Став совершеннолетним, он с группой подростков, искателей приключений, перешел советскую границу в поисках знатных родственников. Долго пересказывать его приключения в СССР, да и не имеют они к сюжету никакого отношения, но все кончилось бегством из Ташкента после знаменитых событий на стадионе "Пахтакор" – кошмарного антирусского погрома, усмиренного военным гарнизоном узбекской столицы. (Бабур уверял, что их подпольная организация готовила чисто пропагандистскую демонстрацию, а погромные насилия пьяных болельщиков на стадионе явились для подпольщиков жуткой неожиданностью – я ему верю. Так нередко бывает с движениями, идеализирующими народ. Потому, в частности, диссиденты в России так неохотно к народу обращаются.) По своим убеждениям Бабур был пантюркистом и панисламистом, поклонником "неутомимого борца за мир Ясера Арафата" и т. д. Вот почему нас поразило, когда в день национального траура армян он публично прочитал большое заявление, где заявлял от имени честных турок, что истребление целого народа было преступлением, которое нельзя оправдывать какими бы то ни было военными или полити-

ческими соображениями, и решение младотурецкого триумвирата о геноциде против армян являлось преступлением против человечности и против совести лучших сынов и дочерей турецкого народа. Содержание я, конечно, помню приблизительно, но общее направление и смысл передаю точно.

С тех пор никакой национальной розни не было в маленькой их "лавочке" статусников, хотя уж такой там набрался интернационал – куда больше: русские, украинец, белорус, армяне, турок, еврей, латыш, даже англичанин имелся (правда, украинского происхождения по крови). Начальство специально сажало в одну камеру Маркосяна и Шакирова! Напрасно. В камере наступил "мир на земле и во человецех благословение". Дай Бог, чтоб когда-нибудь народы нашли в себе силы сделать то, что сумели сделать Бабур Шакиров и Размик Маркосян!

СНОВА О ПАРУЙРЕ

Долго не привозили в карцер Айрикяна. Чорновол вслух возмущался: "Где Паруйр? Почему его нет?". Это меня сильно злило и раздражало против него. Паруйр – такой человек, что подвести, тем более струсить просто не может. Если не встал на Статус – значит, есть у него особые причины. И о них следует помалкивать, не обращая внимания начальства на то странное обстоятельство, что среди нас все еще нет Айрикяна. Разве Чорновол не понимал, что его воркотню прослушивает опер возле транслятора! Но сказать ему ничего нельзя – опер обратит еще большее внимание. Надо терпеть небрежность товарища.

Наконец Айрикяна привезли. И не в карцер, а сразу в ПКТ – на шесть месяцев. Он пытался, пользуясь тем, что внимание начальства отвлечено на статусников, переправить на волю большую посылку с документами. Там находились и статусные материалы, вести из зоны для "Хроники текущих событий", главного информационного органа оппозиции. Старик из "военных" продал его. Я думаю, это вообще была операция Управления: они подсовывали Паруйру своего провокатора, чтобы поймать его на пересылке документов.

Когда его привезли в ПКТ, в караулку зашел майор Трясоумов, замначальника отдела КГБ "Дубровлаг", человек мощного телосложения, с физиономией барсука. Мы понимали: гебист жаждет услышать рассказ Паруйра товарищам, ему не терпится, он сел у ближнего транслятора. Обычно Айрикян без нужды не дразнит гебистов, лишнего лихачества в обращении с ними у него нет, но тут, видно, силь-

но ударила по нервам неожиданная потеря документов... Не помню, что он говорил, не осталось в памяти, но Трясоумов потерял самообладание, под хохот зэков выскочил из своего укрытия и завопил: "Айрикян, вы будете наказаны!". Прапорщики немедленно перевели Паруйра из ПКТ к нам в карцерную камеру.

В те дни карцер превратился в зэковский клуб. О чем мы тогда ни переговорили! Айрикян по-армянски перекрикивался с Размиком аж через весь барак. Любопытная деталь: когда говорили по-русски, надзиратели пробовали делать замечания: "Говорить в карцере не положено!", но речь на иностранном языке, на английском или армянском, производила на них такое же впечатление, как, скажем, пение птиц, – они ее просто не замечали. Мне иногда казалось, что они раздражены, если в словах есть какой-то смысл и им приходится над ним думать – занятие непривычное для поселковых парней, а разговор на иностранном языке, непонятный и не раздражающий кору головного мозга, был для них вроде наркотика...

Помню, как в разгар нашей голодовочной эпопеи, четырехсуточной голодовки, которой мы поприветствовали Белградское совещание, приходила усталость не столько от голода, сколько от яростного и нескончаемого спора о доказательствах Бытия Божия. Еле-еле удалось упросить спорщиков отложить его до окончания голодовки, не то сил могло не хватить. Помню, как устроили хоровую спевку. Запевал, конечно, Паруйр, начинал с армянских песен, мы слов не знали, но подхватывали за ним и Размиком припев: "Хайк! Хайк!". После пения началось чтение стихов вслух. Начал Чорновол, читал он А.Галича, кажется, немного исправляя на свой лад стихи поэта:

И все так же, не проще,
Век наш пробует нас.
Смеешь выйти на площадь?
Можешь выйти на площадь?

Должен выйти на площадь
В тот назначенный час...

А Паруйр вдруг сказал: "Азат и Размик Зограбян вышли на площадь".

Наутро пришел обиженный старший лейтенант МВД и стал рассуждать о гуманности советских законов: "Вот вы, например, в карцере как живете? Песни поете! Как же вас наказывать?". "Гражданин Хлевин, – ответил ему Сергей Солдатов, – не расстраивайтесь. Это не ваша тюрьма слабая, это мы сильнее даже вашей тюрьмы".

* * *

Однажды, уже к концу карцерного статусного сидения, когда мало нас осталось в бараке (кого куда растащили по этапам – в Саранск и Ереван, в больницу или Таллин), стал Айрикян рассказывать мне о НОП. Тогда я и узнал о военизированной структуре организации, о беспрекословном повиновении командиру, о том, как выбирали секретаря НОП. Менты, подслушивавшие в коридоре карцера, его не смущали: они искали запрятанные табак или деньги, на большее их сообразительности не хватало.

Я воспользовался случаем и упрекнул его:

– Паруйр, как ты разрешил посылать на акцию с портретом Ленина Размика Зограбяна? Разве можно посылать на такое дело хозяина типографии? Что вообще есть ценнее для организации, чем готовый станок?

Самое поразительное, что об этом факте Айрикян впервые узнал от меня.

– Ты не путаешь?

– Типографию буквально в последний момент из-под носа гебни вытащил Маркосян.

– Видишь ли, Миша, я давал указания, что делать, а как и кому – это решал в своей группе сам Азат. У него были все права.

Мне вспомнилось, как Азат говорил при мне с Размиком: "Разве я родился командиром? Другие учились быть бойцами, а я рядом с ними учился быть командиром. В деле и на ошибках, на своих тоже".

Рассказывал Айрикян про журнал НОП "Диктор" (помоему, весь журнал был схвачен гебистами, читатели не успели получить ни одного номера)...

Я заинтересовался экономическим положением Армении, стал расспрашивать его... В России существует незыблемое убеждение, что в Закавказье живут богато, много богаче, чем в России, что у каждого кавказца "деньги летят веером".

– Мы бедная и работящая страна, – утверждал Айрикян. – Ты много видел армян в Ленинграде?

– Порядочно.

– И повсюду их много. Не потому, что не любим Армению, а потому, что в Армении нам не прокормиться. Вот и едем во все республики.

Помолчал.

– В этом есть и положительное. Единственная республика в Союзе Армения, где мало русских и вообще других национальностей. Кто же поедет в бедность? Если будет независимость, у нас нет проблемы, как у других – что делать с приезжими. Их просто мало. В Армении армяне работают тяжело, а зарабатывают мало.

– От природы страна бедная?

– Что значит бедная? Ваш Израиль от природы богатый? Мы – богаче! У нас есть такой камень, туф, для строительства лучше мрамора. Да нет, много есть богатств в стране, только плохо используют. Потому что не сам народ думает, как их использовать, а в московском госплане на бумаге считают. Говорят, Брежнев за черный бриллиант отвалил Кочиняну много кредитов на строительство в Армении. Так что толку? Из России ушло, Армении не прибавилось... Так всегда. Сейчас наша сучня проводит опыты с озером Севан. Сначала они построили ГЭС, так стало воды не хватать. Тог-

да начали строить водовод, чтобы добавить воды. Еще когда начали, я на следствии сказал гебистам: "Не нужна армянам эта труба". "Ты, антисоветчик, как ты смеешь называть нашу армянскую национальную стройку на Севане трубой!" Недавно прочитал в журнале: строительство водовода остановлено, что-то они не так посчитали, – презрительно скривился. – Русские деньги уйдут на то, чтобы искалечить нашу природу: у русских отобрали, нам беду сделали. Так уже Волгу искалечили, и Днепр, теперь до Севана добираются.

– Но вот Копоян говорит, что много в Ереване хорошего.

– За шестьдесят лет, если и кое-как жить, что-то сделают! А без русских было бы сделано, может, и не больше, но лучше. Сейчас нам обещают построить атомную электростанцию. Счастье какое! В Америке еще сомневаются, нужны ли они, а в Армении уже нет...

– Осужденный Айрикян, прекратите разговоры в карцере! – вдруг влезает в наш разговор голос из коридора, голос надзирателя.

– Я не осужденный, а военнопленный, – отвечает Айрикян.

Военнопленный секретарь НОП. Так и родилось название этой книги – в карцере ЖХ 385/19.

* * *

В тот раз он докончил рассказ про операцию "Помиловка".

– ...они после Азата освободили Ашота Навасардяна с пермской зоны, брата Каринэ. А потом повезли меня в Ереван. Разговоры... Потом дали вопросник. Там были вопросы вроде: "Кто из членов НОП действует на воле?". Я ответил, что у русских говорят: пусти свинью за стол, она и ноги – на стол, и это очень подходящая для армянского ГБ пословица.

– ...они перестали меня вызывать. Вдруг так надоело

сидеть в Ереване. Зачем? Хочу в Мордовию. Требую отправить меня обратно в зону, как полагается по приговору. Не хотят. Поджигаю камеру. Прибежал начальник тюрьмы. "Что ты со всеми делаешь, несчастье мое!" – "Вези меня в Мордовию!" – "Да увезу, увезу, уже принято решение"...

В конце разговора добавил:

– Ашот женился. Это хорошо. Если пойдет по второму заходу, жена сможет ездить на свидания.

Старый зэк – жизнь знает.

* * *

Одно из самых больших везений в лагерной жизни, что срок моего очередного освобождения из карцера выпал на вечер 22 июля. Начальство уже ушло с зоны, и стало ясно, что ночь я проведу в жилой секции своего отряда, до утра в ШИЗО не поведут.

А ночь выдалась ужасная. Температура, по-моему, упала до нуля. Я сходил в каптерку, взял лишнюю пару белья (зэки запасливы, старые вещи передаются от ушедших к новичкам до полного изнашивания), укрылся поверх одеяла бушлатом. Кроме того, я все-таки спал в окружении полсотни зэков, каждый грел комнату своим телом. Но когда я бежал к каптерке и видел черные тучи внезапного летнего бурана, слышал его посвистывание, от которого мурашки бегали, мысль сверлила череп: "Как же они переживут это в карцере?".

Утро наступило удивительно ласковое, редкое было утро. С трудом дождался, пока меня вызвали в штаб и выписали постановление (начальнику для этого пришлось специально забежать на минуту в зону – а так все офицеры, кроме дежурного, отсутствовали: шел сенокос). Захожу в барак ШИЗО: "Ну как?!" Ничего, вроде. А что такого было этой ночью?

До сих пор не знаю, почему они так мне ответили. Хвастались стойкостью, что ли?

А потом – заболели.

Заболели прежде всего и тяжелее всего трое инициаторов статусной акции, которых начальство посадило не только в карцеры, но и лагерную тюрьму ПКТ (БУР): это означало, что в пересменки между карцерами их выпускали не на зону, как нас, "примкнувших", где мы успевали схватить лишнюю тарелку супа, пачку маргарина, кружку чаю (нас, статусников, поддерживала вся зона, даже "сучня"). Тройку же переводили в камеры напротив: там есть постели, радио и несколько книг, и кормят каждый день, а не через день, хотя и по пониженной норме, но, конечно, условия там были много тяжелее наших.

И вот когда на карцер навалился союзник начальства, холод, "примкнувшие" устояли за счет последних резервов, а обитатели тюремных камер тяжело заболели. Все трое: Осипов, Чорновол, Айрикян.

Болезни появились какие-то загадочные. Врачи установить не сумели, а мои товарищи почувствовали непрерывную слабость, несвойственную им вялость, им тяжело дышалось, даже передвижение давалось с трудом. Врачи подозревали симуляцию, и я не склонен врачей винить: в бытовых зонах симулируют болезнь, чтоб обмануть врача, вырваться на больничку в отпуск после многолетнего труда – это уловка со стороны бытовиков нормальная, врачи в зонах постоянно ждут, чтобы кто-то из пациентов их надул, постоянно внутренне сопротивляются обману. Но Чорновол, Осипов и Айрикян – люди в высшей степени гордые, они терпели сколько могли, чтоб к врагам не обращаться. История лечения каждого из них – целая эпопея, с голодовками, протестами, переговорами с начальством на всех уровнях, но в конце концов врачи поняли, что у всех троих болезни опасные – возможно, для жизни. Первым увезли на больницу Осипова, потом Айрикяна, последним Чорновола...

Когда кончились сто статусных суток, мы с гордостью стали "считать раны", то есть меряться количеством карцеров, которые каждый получил. Я долго шел на первом мес-

те, но перед самым финишем лагерное начальство ко мне подобрело, и я уступил право первым коснуться ленточки Герману Ушакову, "младомарксисту" из Ленинграда: у него набралось 80 суток ШИЗО. Мы с Чорноволом со своими 78 сутками делили 2–3 места, но по коэффициенту второе место по справедливости должно быть отдано ему – ведь промежутки у него были тюремными. А Паруйр и Осипов, следовавшие в лидирующей группе, "сошли с дорожки" в больницу...

ПОСЛЕДНЯЯ НАША ИГРА

Когда шесть тюремных месяцев Паруйра кончались, его вернули из больницы в ПКТ. Но он все еще был болен. И тогда произошло необычное в тюремной практике явление: из тюремной камеры его вывели в нашу зону – лечиться в санчасть.

Таких вещей никогда не делалось: заключенный с другой зоны не должен попадать в нашу зону, это нарушение правил изоляции, которых администрация строго придерживается. Более того, Паруйру не мешали встречаться с зэками нашей зоны – не мешали даже формальными придирками, мол, не приходите к нему, мол, в санчасть заходить не позволено и т. д. В приемной амбулатории, на скамейке, где днем дожидались больные, возникал целый клуб вокруг Айрикяна: там он принимал гостей. Надзиратели не прибегали, не выгоняли, не записывали в рапорт. Правда, раз Паруйр там же, у скамейки, дал надзирателю деньги за какие-то услуги (как выяснилось потом – не свои, а Шакирова), и это стало известно начальству, но это – мелочи быта, а в общем – жизнь текла, будто начальства на зоне не было...

Мы понимали, что возле скамейки установлена "подслушка", и гебистам опять интересно, о чем говорит и думает Айрикян. Паруйр шел на игру – он, как обычно, был уверен, что выиграет больше, чем проиграет. Как говорят американцы, "бесплатных обедов не бывает", и Паруйр принимал правила жизненной игры. Все важные сообщения передавались им не в "клубе", а на улице, причем самые важные он даже на улице не говорил вслух, а писал палкой на рано выпавшем снегу.

Но что случилось такое, что вновь вызвало особый интерес ГБ к Айрикяну?

Скоро мы это узнали: уполномоченный ГБ капитан Борода рассказал Паруйру, что арестован Степан Затикян, основатель НОП и муж его сестры. За что? Борода сказал: "тайна следствия". Едва попав под арест, Степан снова стал учителем и старшим братом для Паруйра.

А потом мы узнали – проболтался человек из администрации, может, и по заданию ГБ, – что Степана связывают со взрывом в московском метро. Паруйр не верил в этот слух, не верили и мы все, но я думаю, что игра ГБ велась крупная, чтобы собрать у него хоть крохи информации о Степане.

Однажды на прогулке Паруйр написал: "Мне нужно в Ереван".

Я понимал: в армянской среде он надеялся что-то узнать о родственнике и друге, что-то точное, определенное. Кивнул. Но мы не разрабатывали сценария будущего скетча. Мы любили импровизировать.

Вечером я явился к нему в "клуб". Для затравки сюжета выбрал предыдущую операцию "Помиловка".

Специфика радиоигры заключается в том, что на радио необходимо давать правдоподобную информацию, то есть ту, в которую гебисты способны поверить. В КГБ работают не тупые и глупые люди (хотя, конечно, не великого ума, но он ведь и не обязателен), а нормальные профессионалы. Правда, мы постепенно тоже становимся профессионалами: зэковский университет не хуже некоторых спецшкол. Мне иногда задают вопрос: как зэки могут выигрывать партии у ГБ, ведь ГБ – организация профессионалов, а зэки одиночки-любители. При этом упускают, что зато заключенному нужно знать много меньше, чем преследователю (по пословице "у вора сто дорог, а у сыщика лишь одна") – например, нам не надо владеть техникой слежки на "хвосте", а только умением ее обнаруживать и уходить, что много проще. Словом, "наука побеждать" была вполне

доступной, если хочешь учиться. И мне работа с Айрикяном в паре всегда доставляла настоящее удовольствие: мастер!

Начали в тот раз так:

– Паруйр, ты помнишь, что я тебе сказал после первого заявления для Дротенко?

– Конечно. Ты сказал, что это не самое лучшее, что я написал в моей жизни.

– Нет, другое. Я предупредил тебя, что гебисты не удовлетворятся твоим заявлением. Дротенко-то умно работал, добился максимума. Если договорился с тобой – на том им следовало и остановиться. Дротенко умел танцевать на пуантах, а ереванские его коллеги – дуболомы. Тебе нельзя было предлагать вербовку даже косвенным образом.

Читатель видит, в чем заключалась игра: я говорил правду, говорил то, что думал, – следовательно, информация, шедшая на приемник, не должна была вызвать недоверия у слушателя ее, Бороды. Тонкость заключалась не в сказанном, а в том, *зачем* я это все говорил.

– Они не хотели тебя оскорблять, это у них работа такая, – с жаром "убеждаю" Паруйра. – Обязаны попробовать вербовку. Если бы ты послал их к педерастам, они не обиделись бы: ну не вышло – не вышло, в работе бывает, но попробовать обязаны. У них свой порядок.

И опять видит читатель: я не лгу, идет ввод в слушателя верной информации.

– Как они смеют со мной об этом заговаривать!

– Глупость сделали. Дротенко, тот тебя понимал, а эти были темные...

– Главное, я ведь хотел по-честному договориться, не обманывал, а они...

А это уже начался, между делом, ввод нужной нам информации. Тут главное не переборщить, поэтому я сразу перевожу разговор с конкретной темы на общие вопросы:

– В науке есть такое понятие: воздействие инструмента исследования на объект исследования. Когда инструмент, которым наблюдают опыт, так действует, что опыт искажа-

ется. Вот и у них: стандарт в методике допроса в Ереване разрушил все, что им подготовил Дротенко в Мордовии...

– Я и сейчас бы стал с ними договариваться, но не могу же на таком уровне, когда оскорбляют...

Игра кончена, теперь будем ждать результатов. Уже отбой, я ухожу, утром его не вижу, я на работе, а вечером – вот вам результат:

– Прибегал Борода. Очень волновался. Предупредил: готовьтесь к дальнему этапу.

* * *

Это была наша последняя встреча с Айрикяном.

Прошло несколько месяцев. В апреле 1978 года истек мой четырехлетний срок, и повезли меня на ссылку.

Во дворе пересыльной Потьминской тюрьмы, быстро скосив глаза, вижу карандашную надпись на стене. Зэковский внутренний телеграф: последняя новость агентства новостей "Дубровлаг":

"Айрикян. Меня увезли в Ереван 31 марта 1978 г.".

Партию у капитана Бороды мы выиграли.

ЭПИЛОГ

Через несколько месяцев, уже на ссылке, я узнал, что тогда перестарался возле айрикяновской больничной "подслушки", ругая армянских гебистов за тупость (ругал, впрочем, искренне). Пришло письмо от моего соседа из Целиноградской области Казахстана, ссыльного Размика Маркосяна. Он описывал свой этапный путь:

"...В этой тюрьме спустили меня три этажа вниз под землю (минус третий этаж)... Открыли камеру, я ужаснулся. Просил, чтобы позвали кого-то из начальства, чтобы выяснить. Они скрутили мне руки и бросили туда.

Камера два на два метра, без форточки, вонь. На стене дыра, и такое ощущение, что там совершаются расстрелы. Все стены, дверь, койка – короче, все, везде и всюду обмазано говном. У меня сразу поднялась температура и появился пот. Сердце рыдало тихо, как вода. Миша, брат мой, признаю, что стал плакать – наверное, от злости и оттого, что бессильный и беззащитный. Там же началась рвота, и там же потерял сознание..."

(Прерву цитирование письма Размика необходимым для нетюремного читателя пояснением, куда же попал Маркосян. Особо опасных государственных преступников полагается на этапах держать отдельно от уголовников, чтобы не заражали революционной бациллой. Но пересыльные тюрьмы чудовищно переполнены, и отдельных камер для политических заключенных не хватает. Камер дефицит, как всего остального. Поэтому случается, что в переполненной тюрьме политика помещают на время этапа в единственное сво-

бодное помещение в тюрьме – в камеру смертников. Видимо, в такое помещение и попал Размик.)

"...Ты пишешь про надпись Паруйра. Его в тот раз увезли не в Ереван, а в Москву. Предлагали освобождение в обмен на согласие выехать за границу, что, как ты знаешь, его не устраивает".

Значит, в Москву, к мастерам душеспасительных бесед! Видимо, перебрали мы с критикой армянского управления. А может, Айрикяна захотели видеть те следователи, которые вели Степана и его друзей к смертной казни?

Позицию Паруйра насчет эмиграции я действительно знал:

– Вы, евреи, должны ехать в Израиль, там ваша родина. А моя родина здесь, и я должен оставаться там, где Эчмиадзин и Армения.

Я... Я несогласен с ним. Бывают в жизни такие обстоятельства, когда человек имеет право покинуть любимую родину. По-моему, такие обстоятельства есть у Паруйра Айрикяна. Но кто я такой, чтобы советовать ему и судить его. Дай Бог ему здоровья, жизни на воле и – спаси его!

* * *

Еще одно последнее воспоминание, и я перестану утомлять читателя. Когда этапный вагон вез меня на восток, в ссылку, на подходе к Свердловску, этой аорте, перекачивающей зэковские эшелоны из населенной Европы в богатые рудниками, шахтами, приисками и лесоповалами, но бедные собственным "контингентом" Сибирь, Якутию, Дальний Восток и Казахстан – так вот, на подходе к Свердловску заметил я в коридоре "столыпина" среди караульных интеллигентное кавказское лицо.

– Армянин? – тихо спрашиваю. Он молча кивает.

– Из Еревана? (Кивок.) Советашен знаешь?

Ни слова в ответ.

– Про Айрикяна слышал?

– Да.

Первый звук из его губ.

– Это мой друг. Азата Аршакяна знаешь?

– Да.

– Тоже мой друг. Я член их организации, симпатик, потому что не армянин.

Он верит мне: видел, наверное, дело, или вообще знает, что в этой камере политический...

– Их организация разгромлена, – шепчет одними губами.

– Она действует!

– Для тебя что-нибудь сделать?

При мне находилось письмо, не мое, одного друга, которое требовалось отправить. Отдать? Но я рассчитывал выйти на свободу через пять-шесть дней (этап за Свердловском продлился на самом деле почти месяц) и поопасался рискнуть.

– Вот что. Скоро здесь поедет на ссылку наш товарищ, Размик Маркосян. Сделай для него все, что сможешь? Понял? Как для брата.

Он понял. Он и для меня сделал бы все возможное – как для брата.

* * *

Несколько слов о судьбе тех, кто упомянут в этой книге.

После конца ссылки я был выдворен из СССР. Живу в Израиле, работаю в Иерусалимском университете.

После конца срока выдворен из СССР Сергей Солдатов. Он живет в Мюнхене (ФРГ).

О судьбе Чорновола я уже писал, Василь Стус, окончив восьмилетний срок, вернулся к семье в Киев, вступил в Украинскую группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений и получил за это "по второму заходу" еще пятнадцать лет. Сидит в лагере особого режима, "на спецу". Пошел четырнадцатый год из его общего двадцатитрехлетнего срока.

Размик Зограбян окончил срок. Зорян Попадюк получил в ссылке новый срок – пятнадцать лет, и того в сумме у него двадцать шесть лет непрерывных лагерей и ссылок. Размик Маркосян за *месяц* до конца срока был арестован вторично – якобы за "покушение на побег" (он выехал из аула, в котором жил в ссылке, в областной центр к врачу с разрешения милиции. На суде милиционер сказал, что он "ничего не знает"). Он был осужден еще на три года. О дальнейшей его судьбе я ничего не знаю.

Однажды в газете я встретил фамилию Пе Пе Ломакина: он выступал главным "свидетелем обвинения" на процессе московского диссидента инженера-электронщика А.О.Смирнова.

Последнее известие, дошедшее об Азате Аршакяне: вместе с Ашотом Навасардяном они были арестованы в 1981 году за распространение листовок НОП с протестом против нового ареста Паруйра в лагере.

О новом аресте Паруйра в зоне и осуждении его на дополнительные три года я уже писал.

Лена Сиротенко обратилась ко всем людям мира и к лагерным друзьям Айрикяна, ко мне и к Эдуарду Кузнецову, ныне заведующему отделом новостей радио "Свобода", с просьбой помочь Паруйру.

Все, что я могу сделать, – написать о друге. Поэтому я написал то, что вы прочитали.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН

Я, Аршакян Левик Акопович, участник Великой Отечественной войны, четырежды раненный, обращаюсь к Вам по поводу своего единственного сына – Аршакяна Азата Левиковича.

В 1974 году мой сын был осужден на 10 лет заключения, из которых 7 лет – лагерей строгого режима и 3 года – ссылки.

В чем же состояла его вина?

Согласно 17-й статье Конституции СССР (1936), любая союзная республика имеет право на свободный выход из состава СССР, статья же 125-я гарантирует свободу слова и печати.

Казалось бы, каждый советский гражданин имеет право не только на собственное мнение об этих статьях, но и на распространение этого мнения. Мой, в то время 23-летний сын, воспитанный в послесталинское время, не мог себе представить, что эти статьи написаны не для их соблюдения, а только по политическим соображениям.

Первая же попытка обсуждения этих статей привела сына к заключению в тюрьму.

Мне кажется, что его арестовали по обычному сценарию, подготовленному Комитетом государственной безопасности (КГБ). Сначала время от времени его приглашали

на "беседы", а однажды им захотелось "побеседовать" также с его матерью (моей женой). С этой целью несколько сотрудников КГБ пришли к нам домой и потребовали, чтобы больная мать пошла с ними в КГБ на "интервью". Когда же сын воспротивился этому и предложил провести "интервью" дома, его сразу же обвинили в хулиганстве.

Через два дня в нашей квартире произвели обыск, нашли "запрещенную литературу" (армянский этнографический песенник и книгу по истории Армении). А сын был осужден за хулиганство на два года лишения свободы. Спустя несколько месяцев ему предъявили политическое обвинение и осудили на 10 лет заключения по ст. 65 и 67 Уголовного кодекса АрмССР.

В 1977 г. Верховный Совет АрмССР из каких-то политических соображений освободил сына. Но КГБ своих жертв так просто не отпускает. В 1981 году, видя, что мой сын не отказался от своих убеждений, его вновь арестовали и по тем же ст.ст. 65 и 67 УК АрмССР осудили на одиннадцать лет: 3 года особого тюремного заключения, 5 лет лагерей особого режима и 3 года ссылки.

Не хочу описывать мучения, которым он подвергался в тюрьме. 25 февраля 1984 года, по истечении тюремного срока, сын направлен в лагерь в пос. Кучино Пермской области.

Если выражение "лагерь особого режима" означает, что заключенные содержатся в нечеловеческих условиях, что их постоянно подавляют физически и морально, что администрация и охрана унижают человеческое достоинство не только заключенного, но и его родных и детей, приезжающих на свидание, – то нужно признать: лагерь, в котором находится мой сын, полностью соответствует этому определению.

О "порядках", царящих в лагере, я узнал следующим образом. 15 апреля 1984 г. сотрудник КГБ сообщил мне по

телефону, что полагающееся сыну ежегодное длительное свидание (1–3 дня) назначено на 18–19 апреля. С разрешения и "благословения" КГБ моя дочь и невестка с пятилетним внуком с большими трудностями 18 апреля добрались до этого уральского села. Однако за несколько минут до свидания бедным женщинам сказали, что он лишен права на длительное свидание, что разрешено только 2-часовое, во время которого им запрещено говорить на родном языке. На свидании, кроме представителя лагерной администрации, присутствовали 7–8 военных с направленным на сына, дочь, невестку и внука оружием в боевой готовности. Не зная русского языка, 5-летний внук не обменялся ни единым словом со своим отцом на протяжении всего свидания. Он заснул на коленях у матери и спал до самого конца свидания. Отцу даже не разрешили обнять и поцеловать своего ребенка.

Чтобы не видеть впредь подобного унижения своих родных, мой сын отказался от дальнейших свиданий.

В том же лагере находится брат моей невестки, Ашот Цолакович Навасардян, осужденный по тем же статьям. Ему разрешили 2-дневное свидание с женой и двумя дочерьми, видимо, из-за крайне плохого состояния здоровья, предполагая, что он долго не протянет.

Судя по их состоянию, можно догадываться, что их ожидает в этих "обыкновенных" лагерных условиях.

Но ведь не для этого мы отдавали нашу жизнь, силы и здоровье в борьбе с фашизмом.

Я понимаю, что сына хотят "сломить", но, зная его характер, я не сомневаюсь, что все это доведет его до смерти. Я понимаю, что из лагеря он живым не выйдет. Я теряю единственного сына.

В сложившейся ситуации единственный выход для нашей семьи (жена, сын, невестка и внук) – покинуть Советский Союз.

Господин Генеральный секретарь, прошу Вашего содействия в спасении моего единственного сына.

С глубоким уважением,

Л. АРШАКЯН,
Ереван, май 1984

СОДЕРЖАНИЕ

Впервые слышу о Паруйре	7
Первые армяне-политзаключенные	11
Первая акция Паруйра в нашей зоне	19
Национальная Объединенная партия Армении	38
"Девушки любят патриотов"	62
Учусь у Айрикяна	76
Как Айрикян попал в ПКТ	99
КГБ играет с Айрикяном	113
Детали к портрету	142
Секретарь Национальной Объединенной...	176
Командиры НОП: Аршакян и Маркосян	187
Стоим на Статусе	202
Снова о Паруйре	218
Последняя наша игра	226
Эпилог	230
Приложение (письмо отца политзаключенного Азата Аршакяна Генеральному секретарю ООН)	234